

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Дедушка

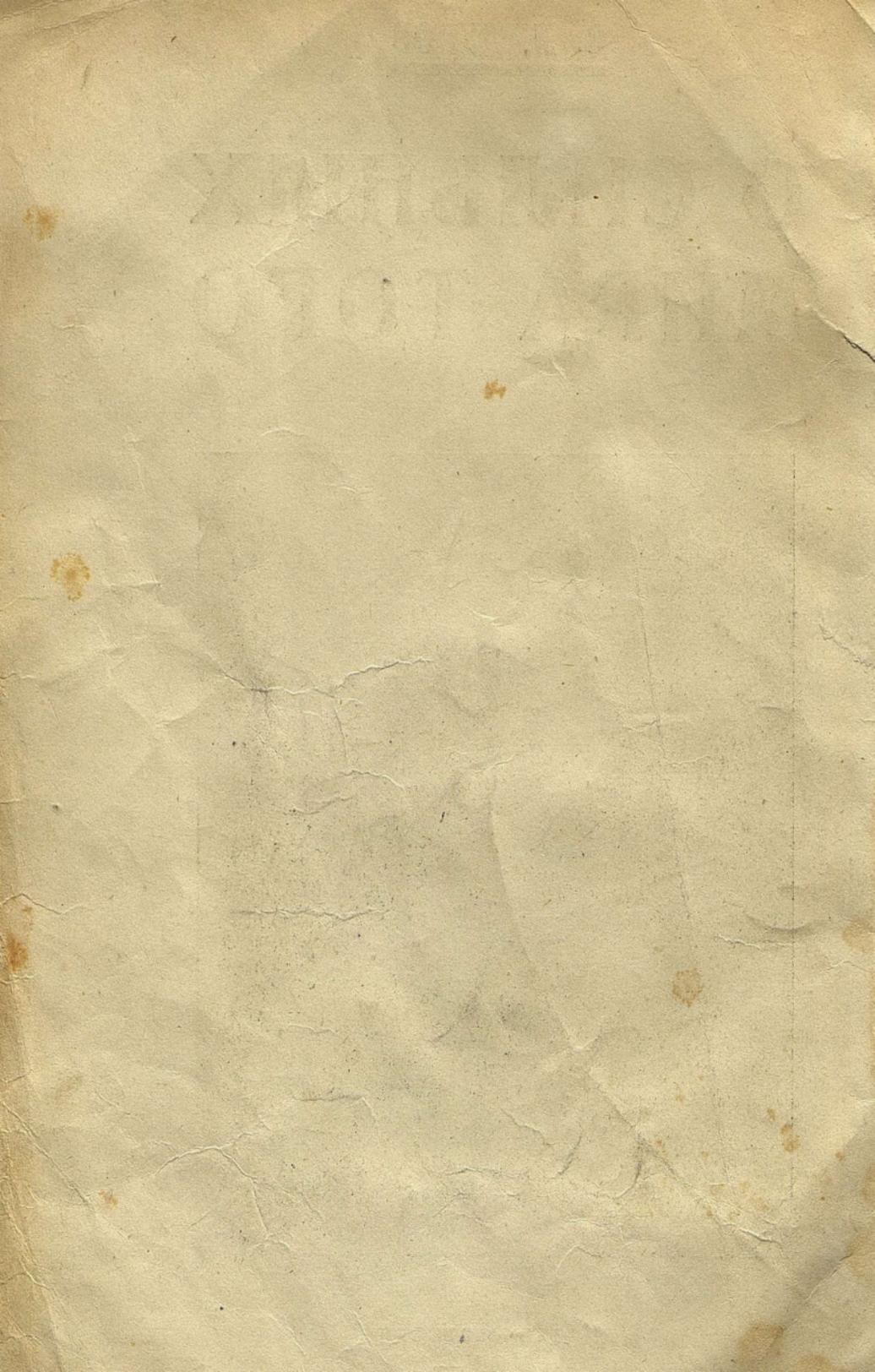
*Дуров*

В. Л. ДУРОВ

# О СИЛЬНЫХ МИРА ТОГО



Издание автора  
МОСКВА — 1925



*дат*

В. Л. ДУРОВ

Д-844

# О СИЛЬНЫХ МИРА ТОГО



[МОСКВА — 1925

МЯРА ТОГО  
О СМЕРНЫХ

~~18652~~ 1867-1912

668711 ред. 04  
Российская государственная  
детская библиотека

\* ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА \*  
Дет. библиотека  
Моск. обл. Подольск. уезда

Главлит 19.845

Тираж 10.000.

39-я Интернациональная тип. „Мосполиграф“, Путинковский, 3.

## ДУРОВ И ЕГО „ДУБЛИКАТЫ“.

Автор этой книжки—известный шут-сатирик, известный дрессировщик животных, — Владимир Леонидович Дуров, который уже сорок лет выступает на аренах русских и европейских цирков.

Биография его так богата событиями, что о ней можно написать целые томы, — что и собирается в скором времени сделать сам В. Л. Здесь же приходится ограничиться только самыми краткими сведениями.

В. Л. родился в Москве 25 июня 1863 г., остался круглым сиротой на пятом году и был отдан на воспитание в богатую семью своего крестного отца, присяжного стряпчего Захарова.

Воспитатель поместил его вместе с младшим братом Анатолием в военную гимназию. Учился маленький Володя Дуров хорошо, но живая подвижная натура не выносила суровой военной дисциплины и гимназия ему пришлась не по сердцу.

Дома он убегал от уроков и скучных наставлений опекунов, требовавших от него благонравия, и целые дни проводил среди прислуги, принимая живейшее участие в ее горестях и радостях.

В людской и кухне он спасался как от чинных разговоров, расшаркиваний, приторных улыбок, поцелуев ручек; — ото всей лжи, которая является неизменным спутником воспитания в богатом доме, среди праздной обстановки.

Людская, кухня, дядя, живший в доме и считавшийся „сумасшедшим“, — вот где была первая школа воспитания маленького Дурова.

Этот „сумасшедший“ дядя, любивший все живое, — цветы и животных и заронил в душу мальчика семена любви к наблюдениям над природой.

Любил он еще с малых лет балаган, на который обратил внимание еще в то время, когда опекун возил его с братом на Девичье Поле, где был выстроен целый ряд этих балаганов с клоунами и акробатами.

Братья решили учиться акробатике и познакомились со шталмейстером (артистом, заведывающим цирковыми конюшнями) цирка Соломонского, Забека, и потихоньку от опекуна учились у него акробатике, платя за это своими карманными деньгами.

Мальчики многому выучились у Забека, но новые знания отнимали слишком много времени, мешали гимназическим урокам, и это скоро сказалось на их отметках.

Новое искусство погубило гимназическую карьеру Володи, 13-летний мальчик держал переходный экзамен по закону божьему в 4 класс.

За столом, накрытым зеленым сукном, уже заседали торжественно экзаменаторы-педагоги, а среди них священник — Мещерский.

Вдруг дверь распахнулась и в зал на руках победоносно вошел Володя Дуров. Он так и пришел к экзаменационному столу среди гробового молчания остолбеневших педагогов.

Поп-экзаменатор вспыхнул и, указывая на портреты царя и царицы, висевшие над столом, прохрипел, задыхаясь от гнева:

— При высочайших особах... при священнослужителе... при госпде боге, который все видит... такое надругательство.

— Вывести вон! — крикнул грозно воспитателю директор.

Совет педагогов исключил маленького Дурова „за дерзкое поведение во время экзамена закона божьего в присутствии царских портретов“.

А семейный совет решил определить исключенного мальчика в Дворянский пансион Крестоводвиженского. Свободолюбивый Дуров задумал бежать из пансиона и уговорил следовать за ним своего младшего брата Анатолия.

Бежать решили в балаган к Ринальдо, который набирал в это время труппу.

Фокусник Ринальдо увез братьев в Тверь, где они стали не без успеха выступать в клоунских костюмах, кривляясь и бросая в толпу свои шутки-прибаутки. Особенно удавалось это старшему брату...

В Твери перед мальчиками открылась изнанка балаганной жизни: голод и насмешки за происхождение. Балаган дразнил братьев барчуками, антрепренер при плохих сборах не платил...

Нужда и голод заставили братьев вернуться к опекуну, где Володю, как старшего, высекли зверски через мокрую, пропитанную солью тряпку.

Дети снова бежали и снова возвращались.

После нескольких таких побегов старший из Дуровых помещен был в пансион известного педагога Дмитрия Ивановича Тихомирова, человека, горячо любившего дело воспитания детей и юношества.

Д. И., сразу расположивший к себе мальчика, в дружеских беседах развивал перед ним свои мечты о благе человечества, говорил о том, что каждый из образованных людей должен служить народу, который его кормит своим тяжелым трудом, и эти речи нашли горячий отклик в душе ученика.

Д. И. говорил:

— Мы у народа в долгу, и неоплатном.

Но юного Дурова тянуло в балаган; он тяготился однообразной школьной жизнью, тянуло его к бродяжничеству, к приключениям.

Возможно, что эта ненависть к мирной жизни была у него наследственной: когда-то, в 1812 году, его бабка, Надежда Ан-

древна Дурова, бежала из дома отца на войну, скрывала свой пол и происхождение под военным мундиром и получила чин и отличие за храбрость, как офицер Александров <sup>1)</sup>).

Страсть к приключениям оказалась сильнее наставлений любимого учителя, и Володя Дуров вновь бежал в Тверь к Ринальдо, а из Твери уже вернулся в Москву по шпалам, пешком, измученный вечными недоеданиями...

В это время ему было уже семнадцать лет. Он выдержал экзамен на городского учителя, под давлением того же Д. И. Тихомирова, был назначен в городское училище на Покровку, но тотчас же отказался от места.

— Иди каждый своим путем, каков бы он не был,—говорил часто Д. И. Тихомиров,—только работай на пользу народу, для его просвещения.

В. Дуров, так тяготившийся уроками, выбрал для просвещения людей свой особый путь: он стал учить и дрессировать животных, которые ему помогали в шутках высмеивать людские пороки.

Захаров несколько раз определял своего воспитанника на службу, но В. Дуров бежал от нее: ему ненавистна была атмосфера чиновничества.

Вечные искания заставляли В. Дурова слоняться из одного людского общества в другое, и в конце-концов сатира над угнетателями народа начальствующими лицами, „сильными мира того“, бросали его в тюрьму, заставляли терпеть высылку из городов, разорение.

Еще живя у Захаровых, В. Л. Дуров приручал голубей, возился с собаками и лошадьми; эта любовь вылилась в особый способ дрессировки, без кнута, при посредстве ласки.

У Ринальдо, скопив немного денег, В. Л. купил себе животных: козла—Василия Васильевича, гуся, собаку и др., стал их дрессировать и показывать публике.

Годы шли; имя Дурова стало известно не только в России, но и за границей.

Куда не приезжал Владимир Дуров, сборы были полны, к нему на спектакли ходили даже те, которые ненавидели цирк.

Проповедь В. Дурова о слиянии всех наций была не по нутру черносотенцам, как не по нутру были насмешки над глупостью, подлостью, ложью и лакейством, которые высмеивал Дуров у „сильных мира того“, не боясь за это никаких гонений.

Владимир Дуров всегда стоял за евреев, как за угнетенный народ, чем восстановил против себя врагов этой нации, например Пуришкевича, Крушевана и их единомышленников, из-за которых даже грозили его убить в Одессе, так что Дурову пришлось бежать за границу.

<sup>1)</sup> Надежда Андреевна Дурова известна также под именем Александра Андреевича Александрова, кавалерист-девица и писательница, родилась в 1783 году. Отличалась большою любовью к животным. Записки Дуровой помещены в „Современнике“ в 1836 году, № 2, под заглавием „Кавалерист-девица“ (см. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, т. 2, стран. 247).

И здесь, в чужой стране, он оставался верен себе, продолжая высмеивать пороки „сильных мира“, высмеял даже германского императора, за что был выслан в 2-месячный срок из пределов Пруссии.

На родине Владимир Дуров продолжал свою деятельность, переезжая из города в город, из местечка в местечко.

В своем „уголке“, который В. Дуров устроил в Москве на Старой Божedomке ради отдыха себе и животным, уже на склоне лет, утомленный тяжелой бродячей жизнью, он открыл первую в мире лабораторию для наблюдений за поведением животных и опытов с ними под покровительством Московского Совета и т. Луначарского.

Здесь он ведет научные работы, совместно с известными профессорами; здесь происходят наблюдения и опыты, благодаря которым Дуровым сделаны многие открытия.

В „Уголке“ имеется маленький театр, где выступают артисты-животные, зверинец, музей, который сам Дуров полу-шутливо, полу-грустно называет „кладбищем“. В самом деле, это—кладбище; здесь на чучелах животных-учеников В. Дурова можно проследить колоссальную работу учителя.

В „Уголок“ из-за границы приезжают иностранные ученые. В. Дуров—самоучка, даровитый во всех областях.

Он и ученый, и музыкант, и изобретатель музыкальных инструментов, и художник-живописец, и скульптор, статуи которого (вымершие животные) украшают вход в „Уголок“, и дрессировщик животных.

Он—автор большого труда по зоопсихологии (дрессировка животных).

Мечта Вл. Дурова—приобрести молодых учеников, которые продолжали бы его работу.

Вот в кратких словах характеристика жизни, деятельности и творчества Владимира Дурова.

Но Дуровых два — Владимир — старший и Анатолий — младший.

Они росли вместе, они вместе бежали в балаган и работали сначала рука-об-руку. Только потом их дороги разошлись.

Прошли года, и братьев стали путать. Часть публики, стоя перед афишей Владимира Дурова, кричала:

— Это—настоящий... Это—старший Дуров...

Другая часть уверяла:

— Нет, это—младший, настоящий старший—Анатолий.

Оба они, конечно, настоящие, но из предлагаемого здесь читателю краткого биографического очерка он увидит, что старший Дуров—Владимир.

Кто же был Анатолий и какова была его деятельность?

Анатолий Дуров младший, был очень талантливым гимнастом, декламатором стихов и весьма посредственным дрессировщиком. Он никогда не шел по пути своего старшего брата в дрессировке путем ласки, вкуспоощрения,—его звериная наука

была та жестокая наука, которая заставляет лошадь бежать быстрее под понуканием извозчика, а льва в клетке улечься у ног укротителя. Его способ был кнут, болевая дрессировка, не требующая от дрессировщика ни терпения, ни наблюдательности, ни знания, ни заботы.

Анатолий Дуров, умевший пошутить с публикой, никогда не был автором тех едких остроумных и смелых политических шуток, за которые приходилось часто жестоко расплачиваться их автору Владимиру.

Наконец, Анатолий Дуров редко сам дрессировал своих животных, которых у него было немного,—он покупал их готовыми от дрессировщиков.

И никогда не устраивал Анатолий Дуров лабораторий для изучения зоопсихологии.

После него не осталось никаких литературных трудов, никаких научных открытий.

Братьев часто смешивали. Говорили, что они похожи лицом, хотя и это было совсем верно. Но у них было одно поприще и одна фамилия

Владимир жил постоянно в Москве, Анатолий устроил свой „Уголок“ в Воронеже.

Здесь у него был и свой музей, но в музее этом можно было найти скорее картины и древнее оружие, чем коллекции животных.

Анатолий Дуров умер в 1915 г. и похоронен в Москве на кладбище Скорбященского монастыря.

Владимир Дуров продолжает интенсивно работать на Старой Вожедомке и делать все новые и новые открытия.

Но у него имеется еще несколько „дубликатов“, которые легко скользят по проторенной нашим народным сатириком дороге.

У Дурова имеются двойники.

У Владимира Дурова был сын, тоже Владимир. Как отец, он бросил учение в школе и 18 лет впервые выступил на цирковой арене. Проработав в цирке 3 года, юноша скончался от туберкулеза.

У Владимира Дурова есть племянники: сын покойного Анатолия, Анатолий Штадлер, выступающий в данное время за границей с дрессированными животными, которых покупает уже обученными болевой дрессировкой. Племянница В. Дурова, дочь Анатолия, выступает на арене цирка с отгадыванием чисел.

Существует еще Дуров-Чукаев, клоун и дрессировщик.

Дуров-Дурнов, бывший шталмейстер цирка.

И, наконец, Дурова Елена, настоящая фамилия которой — Фачиоли, она выступает с дрессированными собаками.

Да мало ли еще на свете Дуровых.

А настоящий Дуров Владимир старший сидит в своем „Научном и культурно-просветительном уголке“ в Москве и неутомимо работает.

Это — настоящий народный шут, первый, бросивший свободное слово с арены цирка в народ.

*Ал. Алтаев.*

## МОЯ ПЕРВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ САТИРА.

Вот я и на шпалах.

На пути из Твери в Клин.

Я бежал из Твери подальше от неудачной любви, от насмешки балаганщиков, от желания антрепренера Ринальдо меня закабалить

С саквояжем за спиной, весело перепрыгивая со шпалы на шпалу, я думал о прошлом.

Живо представлял себе фокусника Ринальдо, которого я ловко оставил в дураках своим последним— „фокусом“, т.-е. удрав от него.

Две змеи рельсов, блестя, извивались меж густых лесов. Туда в лесную прохладу стремилась углубиться моя душа.

Свежий, здоровый, напевал я строфы моего куплета „Все замерзло“:

Ветерком пальто подбито  
И в кармане ни гроша,  
В этой доле поневоле  
Затанцуеть антраша.

С надеждой смотрел я вперед. Тяжелый саквояж не казался тяжелым. Длинные брюки с балаганного режиссера Пашенко не мешали мне пэрхать как балерине.

Оставляю за собой версту за верстой.

Солнце садится. И я в лесу.

Сел. Отдохнул.

И постепенно, незаметно для меня, природа начала оказывать влияние на мое настроение.

Повеяло прохладой. Лес таинственно шумел. Через полотно дороги быстро пробежал какой-то зверек. Я дрогнул. Кажется, заяц.

Всматриваюсь в гущу леса. Делается немного страшно. Чувство одиночества охватывает вдруг мою душу. Я бросаю мои думы о прошлом и задумываюсь над будущим. Что оно мне сулит? Где я буду спать и что я буду есть,—в первый раз пришло мне в голову.

До Клина еще далеко. Чорт возьми, жутко. Мало того—страшно: лес тянется без конца. Хоть бы одно живое существо. А деревья, словно шушукаясь, насмешливо надо мной, все сильней и сильней покачивались из стороны в сторону.

Когда же он кончится этот лес? Вдали только темная синева. Пахнуло с боку сыростью болота. Холодный пот выступил на лбу.

Саквояж делается все тяжелее и тяжелее. Ремень врезался в ключицу. Скривившийся сапог тер ногу. Отдохнуть бы. Нет, страшно. Нет, вперед...

Резко повернулись рельсы влево. Перед глазами картина изменилась. На повороте стояла будка стрелочника.

Сердце усиленно забилося. Энергия заставила прибавить шагу. Опять усталости как не бывало.

— Дедушка, пусти. Пить хочу, — обратился я к старику, сидевшему в будке стрелочника.

Залаяла на меня собачонка. Я, шутя, ответил тем же. Старик сердито открыл дверь.

— Ну, пей!

Осведомившись, кто я и, получив ответ, что—фокусник, он захлопнул предо мной дверь...

А саквояж все давит и давит.

Надо бы облечить.

Что можно выкинуть из саквояжа?

Посмотрим.

Быстро за дело.

Саквояж распакован. Тяжелые книги нот, оркестровка ненужных уже куплетов мигом разлетелись по ветру. Переплеты шлепнулись в траву, листы полетели, как гигантские бабочки, в кусты.

Что еще можно?

А, вот и парик от пантомимы. Хоть не тяжел и места почти не занимает, но он мне напоминает о моей роли старика в пантомиме „Арлекин-скелет“, роли для меня несимпатичной, ибо мое призвание было изображать комиков.

И парик полетел за нотными листами.

На дне саквояжа лежали деревянные крепкие клише с вырезом посредине для шрифта.

Я вытащил клише, изображающее плачущую физиономию с крупными слезами в грецкий орех.

Ох, жалко бросать. Сам вырезывал перочинным ножиком и натер себе порядочные мозоли, но ключица и спина дороже.

Бесцеремонно бросить клише, плод тяжелых трудов, как я сейчас швырнул ноты и парик, я не решался и, высмотрев подходящий сучок, прислонил к нему мое клише.

Чу, идет кто-то,

Я подобрал саквояж и шмыг в гушу зелени.

Вдали показалась в лаптях, с котомкой за плечами и с сучковатой палкой сгорбленная фигура старухи.

Старуха подошла к дереву с клише.

Увидя доску с каким-то изображением, она приблизилась и стала с опаской осматривать ее со всех сторон. Палка выскочила у нее из рук.

Старуха пробормотала какую-то молитву и стала учащенно креститься.

Я не переставал наблюдать.

Баба стала на колени, подняла руки к небу, причитая вслух, ударяясь лбом о землю и об корень дерева и, наконец, приложилась с благоговением к моему клише.

Я не выдержал и фыркнул.

Баба шарахнулась в сторону.

— Свят, свят, свят! С нами крестная сила,—с этими словами бросилась она назад.

Не могло быть сомнения: старуха приняла мое клише за явленную икону.

Я продолжал свой путь.

Вот и желанная. Вот и станция Клин.

Усталый, измученный, насилу добравшись до постоялого двора, я нанял коморку, именуемую „номером“, и, несмотря на голод, поспешил разоблачиться и растянуться на жестком войлочном матраце.

Отдохнув, я разговорился с корридорным. Узнал, что в Клине есть помещение для представлений и что есть у них надзиратель, от которого житья нет, который берет со всех: даже торговки яйцами, молочницы молоком приносят ему дань; недавно этот бич Клина кутил с компанией у хозяина „номеров“ целых два дня, не заплатив ни копейки.

На завтра я засел за составление афиши. Попросил чернила, перо. Вот и афиша:

„Проездом (хорош проезд! — подумал я) через здешний город в Москву, с дозволения начальства, будет дано представление в здании клуба, в трех разнообразных отделениях, состоящих из следующих номеров:

„Сила зубов или железные челюсти“  
исполнит силач Владимиров.

Сатирические куплеты: „Все замерло“  
исполнит комик Володин.

Удивительные фокусы покажет профессор черной магии Вольдемаров.

Первый русский оригинальный солоклоун Дуров выступит как художник-моменталист и звукоподражатель“.

Афиша готова. Иду в клуб. Веду переговоры. Вхожу в соглашение. Теперь и к надзирателю.

Я протискался между тулупов просителей и столкнулся с седым будочником, загородившим мне дорогу и величественно осмотревшим меня с ног до головы.

— Чего надо? По каким делам?

Я объяснил цель своего прихода.

Со словом: „а, комедия“, — он впустил меня в канцелярию.

Предстал я перед ясные очи надзирателя.

В канцелярии пожилой секретарь, два—три писца.

Держу в руках афишу.

— Чего надо? — грубо спросил меня надзиратель. — Что за прошение?

Я протянул афишу.

Строго пробежав афишу от начала до конца, надзиратель вскинул на меня злые глаза и коротко отчеканил:

— Паспорта артистов!

Я подал свой паспорт.

Он побагровел.

— Паспорта всех артистов, — говорю! — заревел он

Я объяснил, что все здесь написанное исполняется одним мной.

— А, таких жуликов-шарлатанов не пускаю.

Кровь бросилась мне в голову.

Я заявил, что написанное непременно исполню.

Много вас таких шляется!

И надзиратель язвительно прочитал вслух мою афишу.

Затем бросив ее, спросил:

— Ну, какой ты силач? Покажи-ка свою железную челюсть?

Я ни слова не говоря, ухватил край большого, покрытого зеленым сукном стола, с оловянным чернильным прибором и поднял на воздух.

Надзиратель, секретарь и писцы разинули рты, и когда я опустил стол опять на прежнее место, то прочел на лицах, в особенности писарей, удивление и удовольствие.

У надзирателя невольно вырвалось:

— Ах, чорт возьми здорово!

А секрет был прост: ухватившись за край стола, я его чуть-чуть приподнял зубами и упер в ногу, послужившую точкой опоры. Сеанс таким образом не стоил мне никаких усилий.

— А какие же вы делаете фокусы? Перемена тон, в котором уже в сильной степени сквозили нотки любопытства, спросил надзиратель.

— Покажу, только позвольте мне лист газетной бумаги,— сказал я.

Все заинтересовались. Бросили писание.

Подали мне газетный лист. Я попросил удостовериться, что в листе нет ничего. Обернул его вокруг руки. Просил не быть в претензии, если что-нибудь появится. И затем вытащил из газеты собственный стоптанный сапог.

Писаря не выдержали, забыли, что перед ними „их благородие“ и захлопали в ладоши.

А „их благородие“, удивленное и смягченное, изволило пригласить меня сесть, со словами:

— А третье отделение, какой вы клоун и рассказчик, мы послушаем уже в клубе, в воскресенье.

Появился предо мной и стакан с чаем.

Надзиратель более внимательно прочитал мой паспорт. И узнав от меня, что я воспитывался в Москве в корпусе, очень был рад, что у нас был общий учитель.

Представление состоялось в назначенный день. Публики было очень много. Не в меру ретивый надзиратель распустил про меня нелепые слухи, сослужившие мне, однако, большую, в смысле сбора, службу, будто я поднимал стол, на котором восседал секретарь. Публика с интересом следила за моими передеваниями и метаморфозами из Геркулеса в фокусника, из фокусника в клоуна.

Третье отделение.

В антракте я успел подсчитаться с кассиром и, получив выручку на мою долю, накинул сверх гражданского костюма шутовской балахон.

Под звуки разбитого рояля я вышел на сцену.

Стихи сменялись рисованием, шутками. Одно следовало за другим.

В заключение—рассказ.

Я начал.

— Прошу у вас, господа, позволения рассказать о том, что случилось со мною в вашем милом городке.

— Просим, просим, — послышался довольный и неизменно ко мне благосклонный голос надзирателя.

— Иду я берегом пруда. Смотрю: собралась большая куча народу. Спрашиваю: „что делаете ребята?“ „Да вот стряслось у нас несчастье: бьемся у воды три часа и никак не можем вытащить“. „Кого, чего?“ — спрашиваю. „Надзиратель утонул“. Эх! ребята, помочь вам. Верный дам совет. Покажите ему трехрублевку он и сам из воды вылезет“.

Что произошло после этого в театре—не знаю...

На ходу сдергиваю свой балахон, кладу его моментально в саквояж и айда через окно на пожарный двор, оттуда на улицу и не пешком, а на ломовом доезжаю с триумфом до первого полустанка, где ожидаю отходящего поезда.

Удирая на ломовом, я пытался взглянуть в свою душу.

Пошел ли я против совести, или поступил как надлежало поступить. Должен ли я был бросить надзирателю в лицо обвинение или не имел на это морального права. Ведь, мне лично надзиратель, в конце концов, оказал большую услугу: благодаря его содействию я получил полный сбор. Но видя со сцены в течение целого вечера лицо Гоголевского Держиморды, блестящие пуговицы нового вицмундира, вспомнив и мужиков, несущих ему дань, и баб, платящих ему контрибуцию молоком и яйцами и, торговцев, поднесших ему, вероятно, ко дню именин этот новенький вицмундир, и хозяина постоянного двора, где два дня производились поток и разграбление; вспомнив общий уклад придавленной провинциальной действительности,—я не мог вытерпеть, чтобы не крикнуть правду в глаза. И с моих уст сорвался мой рассказ.

С этого дня я и начинаю летоисчисление своей политической сатиры.

## СТАРАЯ МОСКВА.

### I.

#### Старая Москва и наш дом, и кто в нем бывал.

Дом Захарова, моего крестного отца, у которого я воспитывался после смерти родителей, находился в Чернышевском переулке и был стильным барским особняком того времени.

Теперь вряд ли где встретишь такой желтый штофный зал или малиновую атласную гостиную с густо бахрамой на мебели и тяжелыми кистями, какая была у Захаровых. Впоследствии

этот материал послужил мне для первого выходного циркового костюма.

Николай Захарович Захаров, мой воспитатель, богатый человек, имевший хорошую практику как присяжный стряпчий (адвокат), был вылощенный корректный человек, проводивший вечера в Английском клубе, где собирался „цвет“ московского высшего общества.

У Захаровых я в первый раз увидел московских всесильных правителей того времени.

Передо мной встает в памяти облик старой Москвы шестидесятих годов.

Представление о старой Москве в моем воображении складывается из мозаики отдельных картинок, сцен, типов, даже запахов.

Я не могу представить себе Вдовьего Дома, где часто бывал у своей бабушки „бабонички“, без ощущения желтого дрожжего, как желе, нарезанного толстыми ломтями горохового киселя, густо облитого постным маслом; красные и голубые с бахромами и тяжелыми кистями гостиные барских особняков напоминают мне аромат мяты, которой раньше накуривали на раскаленных кирпичках. А закоулки и лавки „Зарядья“ немислимы в моем представлении без совершенно особенного букета жареных кишек с кашей на каком-то тухлом сале.

Где теперь старые темные московские тупики и „колена“, перегороженные на каждом шагу выступами домов, неуклюжие толстые фонари, окрашенные в „дикую“ краску, жалко мигающие своими тремя фитилями, опущенными в конопляное масло, которые зажигали пожарные в серых мундирах и колпаках?

Где полосатые будки будочников, замененных потом городовыми? Помню, как сейчас, их неподвижные фигуры с аллебардами, а на аллебардах выгравированными надписями: „Сушевская“, „Мясницкая“ часть и др... На них серые однобортные мундиры с фалдами, а на мундирах девять пуговиц.

Водопроводов не было и в помине, и обыватели ходили с ведрами на площади к фонтанам. Извозчики выезжали на ужасных высоких дрожках и за 20 копеек с величайшей готовностью везли через весь город, рискуя вывалить седока на первой выбоине.

У Ильинских ворот бабы торговали горячим сбитнем, который они наливали в граненые стаканчики.

Все это необходимо представить себе, чтобы встали ярко образы людей, игравших в Москве первую роль и теперь давно ушедших из жизни...

Многие из них играли роль во время моего пребывания у Захаровых и нередко бывали у крестного Николая Захаровича.

Бывала здесь, что называется „Вся Москва“: Носовы, Гучковы, Бавастра, Огарев...

## II.

### Старый уклад присутственных мест.

С Воскресенской площадью у меня связана масса воспоминаний. Здесь в старые годы (до 1892 г.) красовался старый дво-

рец в три этажа и два крыла. Потом на его месте выстроили Городскую думу.

На Воскресенской площади помещались в то время и вообще присутственные места: 1-й и 2-й департаменты Гражданского суда, словесный суд, подворный суд (впоследствии окружной) тюремная яма, куда сажали за долги, домовая церковь...

По другую сторону Иверских ворот, на месте Исторического музея стояла дореформенная шестигласная дума, переведенная впоследствии на Воздвиженку в дом Шереметева, и „Управа благочиния“, которая была упразднена с введением городского положения.

Это было чисто „приказное“, старое, как кремлевские стены, учреждение, со старыми отшлифованными, точно морские камни, ступенями на широкой чугунной лестнице.

В этой управе я был писцом, получающим 7 рублей жалованья, „на всем своем“, и каждый день проходил мимо важного швейцара, оглядывавшего презрительно как мелких чиновников, так и многочисленных несчастных просителей и просительниц.

А что были за нравы!

Меня долгое время поражали обычаи управы благочиния, и я был в глазах товарищей-сослуживцев человеком с другой планеты.

Я решил, в конце-концов, не держаться особняком, а завоевать их симпатию.

Мне помогла моя прирожденная способность смешить и оживлять людей.

Я приглядывался к окружающим, подмечал их характерные черты и копировал их часто в смешном виде: копировал походку, покашливание, звук голоса...

Бывало пойдешь, так слегка покашливая, подражая начальнику, и начинается среди сдужающих переполох, водворяется разом глубокая тишина, перья быстрее двигаются в руках; засмеешься и кругом смех и восхищение:

— Ну и штука!.. И как это вы можете...

— И дано же этакое человеку—мертвого из грсба поднимет...

— Ну, покашляйте еще немного... Ах, точь-в-точь его превосходительство...

Все эти несчастные, пришибленные люди, не смевшие дышать в присутствии начальства, старались приблизиться к идеалу быть похожим на „его сиятельство“, самого генерал-губернатора князя Долгорукова, хоть внешним видом, и потому в Управе вошла в моду прическа на манер его сиятельства, с височками и английским пробором сзади. А в Москве гуляло про эту прическу или про парик лысого князя множество анекдотов.

Рассказывали, что фаворитка князя, знаменитая балерина Собищанская, изрезала раз в порыве гнева ножницами на кусочки княжеский парик, и лысый сановник не в состоянии был никуда выйти. Он просидел две недели в своей комнате, не выходя из нее до тех пор, пока ему не прислали из Парижа нового.

Чиновники пресмыкались не только перед всеильным генерал-губернатором, который мог их раздавить, как блох, но и перед своими столоначальниками, перед каждым, кто был одной ступенью их выше. А я держал себя относительно начальства очень независимо, и эта моя независимость и умение вносить в тусклую жизнь управы веселье заставляли товарищей по службе проникнуться ко мне уважением.

Я приглядывался внимательно к окружающему меня укладу жизни и изучал его отрицательные стороны.

Я заметил, что любимым занятием и развлечением разных канцелярских красноносых Свистулькиных и Сопляковых было глумление над тем, кто был ниже их, кто в них нуждался.

Они выбирали для своего издевательства обыкновенно бедных просителей.

Придет какая-нибудь жалкая старушенка из деревенской глуши, со слезившимися глазами и начнет шамкать:

— Батюшки...родимые... паспорт вот у меня... куда мне здесь, укажите, сделайте милость...

Чиновник слушает, а сам косится на ее пустые руки. От этой ничем не поживишься, а в то время чиновники все поголовно были взяточниками, и трудно было без взяток прожить при тогдашних ничтожных окладах, особенно чиновникам, обремененным большою семьей.

Итак, у старушенки нет ничего в руках, что могло бы пополнить пустую казну „батюшки родимого“. И он кивает головою:

— Вон там, ступайте туда.

Старуха подобострастно кланяется:

— Спасибо, кормилец...

И плетется куда ей показывают.

А там никто ничего не знает, и ее посылают дальше, за другое „стойло“, где виднеются согнутые спины чиновников, оттуда еще куда-нибудь, пока, наконец, не наведет на правильный путь швейцар.

А иногда опять очутится у того же стола:

— Батюшка, касатик, сделай милость...

Но она от швейцара знает, что ей нужно начать с „благодарности“. Не подмажешь—не поедешь.

И старушенка, кряхтя и вздыхая, поднимает верхнюю юбку и вынимает из нижней платок, в уголке которого „подалее“ запрятаны в узелке завернутые медные пятаки.

Отдаст она последние гроши чиновнику, небрежно опускающему их в стол и получает необходимую справку.

И бредет назад по большому залу, разделенному прямой линией ковровой дорожкой, мимо высоких барберов, мимо столов с согнутыми фигурами, мимо сотни шкафов, битком набитых делами в синих обертках.

Скрипят чиновничьи перья, горбятся годами согнутые чиновничьи спины, растет гора исписанной бумаги под руками синих вицмундиров с застывшими как у мумий лицами, этих старых канцелярских крыс, с прилизанными постным маслом височками,

нюхающих табак и вытирающих бритые подбородки красными бумажными платками.

Направо и налево — столы... столы... столы...

С презрением смотрят они на просителей: мужичков в лаптях, дряхлых деревенских старух с почтительно согнутыми спинами, и меняют выражение только для большебородых купцов и домовладельцев в долгополом кафтане и сером армяке, у которых всегда наготове «благодарность».

И надменный вид этих канцелярских крыс сразу меняется, как только в конце зала дрогнет стеклянная дверь, ведущая в кабинет начальника, и курьер быстро распахнет ее... Тут спины пригибаются низко к столу, как по мановению волшебного жезла, а перья быстрее забегают по бумаге...

Душно, невыносимо душно было в этом зале, и я в нем задыхался от старой чиновничьей плесени, отводя душу только в шутках и в дружбе со швейцаром Осипом, с которым подружился, узнав про его любовь к животным, особенно канарейкам, для которых он в свободное время обтачивал палочки для насеста.

### III.

#### Забытые силуэты.

Огарев, обер-полицеймейстер г. Москвы, был дружен с моим крестным. Предо мной встает его высокая фигура с висящими низко, крашеными и длинными, как у Тараса Бульбы, усами.

Он бывал у нас часто запросто и от души хохотал, когда я, мальчик, копировал походку, манеру и жеманство общей знакомой жены жандармского полковника Дениса.

Когда мы удирали с братом в цирк, Захаров жаловался Огареву, и тот грозил собственноручно выдрать через мокрую тряпку с солью.

Впоследствии, когда я работал уже во вновь устроенном на диво всей Москве каменном здании цирка Соломонского, на Цветном бульваре, — Огарев говорил, встречаясь там со мною:

— Мальчишку знаю с детства и с детства у него пристрастие к цирку, и никакие просьбы его воспитателя и никакие мои угрозы не помогли. Так, видно, суждено.

Моя дрессированная собачка Бишка заставила говорить о себе всю Москву.

Она показывала публике новый номер: сидя на задних лапках, она сама у себя брала из лапки в зубы папироску и делала вид, что курит; она решала на арене арифметические задачи, брала разложенные цифры, по заданию публики. Все эти новинки цирка приводили публику в восторг и казались ей чудом.

В этот вечер мне особенно горячо аплодировали, и я получил серебряный портсигар с надписью «талантливому дрессировщику» от Смирнова.

После представления в буфете со мною познакомился молодой в то время присяжный поверенный Смирнов.



Смирнов поспешил повторить аванс, и мы с товарищами смеясь над расточительностью наивного адвоката, продолжали приятную дрессировку.

Но вот к нашему несчастью, номер был окончательно готов. Дальше тянуть казалось невозможным. Гордон блестяще выполнял все, что от него требовали.

Товарищи старались обмануть собаку, поочередно незаметно спускали со стола то салфетку, то вилку и, как бы это ни делали они незаметно, зоркие глаза гордона не пропускали ни одного движения сидящих за столом.

Смирнов был в восторге, когда я показал, чему научил гордона. Он дал мне большую сумму денег за дрессировку и увез собаку.

Через несколько дней во время второго антракта я столкнулся в фойе со Смирновым.

Он не поздоровался со мной и вдруг резко и грубо с места в карьер, к моему великому удивлению, стал кричать:

—Я думал, что имею дело с нашим интеллигентом, а вы — комедиант—и больше ничего. Так зло и пошло посмеяться мог только человек...

Я не дал ему договорить.

—Да объясните же мне, в чем дело. Я ничего не понимаю.

—Не притворяйтесь, пожалуйста. Вам это даром не пройдет, я вас привлеку к ответственности за шантаж.

Смирнов все более и более повышал голос, привлекая криком публику.

Я был взбешен. Я был незаслуженно оскорблен и уже готов был его ударить, как окружавшая нас толпа раздвинулась, и возле меня очутился Огарев.

—Я прошу вас обоих в контору, — сказал он и сам пошел с нами.

Пристава розогнали публику.

Тут только в конторе я узнал о том, что произошло с гордоном. Дело было так: модный блестящий богатый присяжный поверенный, враждавший в аристократическом кругу, устраивал юнг у себя в с оей роскошной квартире. Его четверги посещали все представители высшего общества Москвы.

В один из последних четвергов к Смирнову приехала и его невеста, княжна Х...

Конечно, как полагается, невеста ласкала любимую собаку жениха, давая ей конфекты, а потом за ужином, сидя рядом с хозяином, увлеклась разговором и забыла про гордона.

Про гордона забыли все гости. Никто ничего не ронял и гордону не пришлось ничего получить.

После ужина многолюдное общество разместилось в зале. Все пристали к «царице вечера», княжне Х:

—Пожалуйста, спойте нам. Мы давно уже не слышали вашего чудного голоса.

Княжна села за рояль, приготовилась петь, аккомпанируя себе.

В зале водворилось напряженное внимание... Смирнов сидел возле княжны, чтобы переворачивать ей страницы нот. Княжна взяла несколько аккордов...

И вдруг, среди этой сладкой тишины, прерываемой нежными звуками рояля, в зале появляется гордон...

Он подвигается вперед к роялю, гордо неся в зубах какой-то сверток, подошел к княжне и победоносно положил ей на колени... грязные подштанники хозяина...

Что тут произошло — трудно описать.

С княжной сделался обоморок, истерика...

Бледнея и краснея, Смирнов кричал в конторе:

— Пусть не отпирается. Ясно, что все это было им подстроено нарочно. Он подучил собаку таскать грязное белье, чтобы осрамить меня.

Он кричал, а я хохотал...

В самом деле мне было очень смешно.

Я удивлялся сообразительности гордона и тут же объяснил причину происшедшего: собака ничего не получила за этот вечер, а получить хотела, и стала искать, нет ли чего брошенного, за что можно было рассчитывать иметь подачку. Он нашел брошенное под кроватью белье Смирнова и принес его тому, кто его угощал.

Рассказ о скандале у Смирнова облетел всю Москву. С тех пор мне стали предлагать со всех сторон в дрессировку собак. Тогда и обер-полицеймейстер Огарев отдал мне пару своих горных санбернартов, за что в конце концов не заплатил мне ни копейки, как и прачке, которая мыла ему 25 лет белье и за это получила старую пожарную клячу, околевшую через две недели.

#### IV.

### С тугим карманом.

Ведь капиталисты тоже были сильные мира того, а потому я хочу вспомнить в этой книге и мои с ними столкновения. Удачная дрессировка смирновской и огаревских собак заставила меня открыть на Садовой улице в моей квартире, в глубине двора, учреждение, там на двери я навесил дощечку:

„Дрессирую всевозможных животных, специально собак“.

И вот ко мне все чаще и чаще стали приводить собак и приносить кошек.

Это очень не нравилось домовладельцу, и он грозил подать на меня мировому, но я не обращал внимания на эти угрозы и делал свое дело.

Я расположился в самой большой комнате квартиры, совершенно без мебели, с прибитым кругом стен линолиумом, с ввинченными в деревянные стены кольцами.

К этим кольцам на цепочке привязывались собаки — ученики.

Вспоминается мне характерная сцена.

Я в своем „кабинете“. Вся его мебель составляют: маленький письменный столик, два кресла и один стул. В одном углу почти пустой комнаты — клетка с гусем, в другом на цепи козел.

Служащий докладывает мне, что около под'езда остановилась шикарная коляска и из нее вышла какая-то дама.

— Она желает видеть вас,—сказал служащий.

— Меня? Дама? Кто такая и зачем?

— У кучера я узнал, что это купчиха с Плющихи.

— Проси,—сказал я, застегивая тужурку.

Входит дама, шурша шолковыми юбками, окидывает быстрым взглядом комнату, ставит к станку около клетки гуся свой шелковый кружевной зонтик, садится на стул и начинает беспрерывно болтать:

— Это вы известный комедиантщик, который учил огаревских псов? Я много слышала о вас и потому приехала к вам посоветоваться... У меня есть собака — Милорд, это просто прелесть. Душка. Я хочу, чтобы вы непременно, непременно взяли его на воспитание. Если огаревских псов можно было научить, то уж моего Милорда и подавно. Он такой умный,—удивительно, И притом, подумайте, почему мне с моими капиталами не иметь ученую собаку? Неправда ли?

— Я совершенно не знаю, сударыня.

— Ну, все равно. Я-то уж знаю. Я, видите ли, хочу, чтобы мой Милорд был послушен и исполнял все, все, решительно все мои приказания. Это можно, как вы думаете?

— Я совершенно не знаю какие будут приказания...

— Ну, все равно. Я-то знаю. Я вам сейчас все объясню. Слушайте. Например: вот у меня спальня,—рисовала она пальцем на столе,—рядом—дверь в гостинную, из гостинной дверь в маленький корридор, вон там—ванна, а около ванны дверь в кухню; вот я хочу так:—Милорд,—прикажу я своей собаке в спальне,—приведи ко мне Марфушку (Марфушка — это моя горничная), — и Милорд должен побежать в кухню, взять за платье Марфушку и привести ее ко мне.—„Милорд,—скажу я опять,—приведи мне кухарку Степаниду“, — и он должен мне тотчас же привести Степаниду.

— Сударыня,—закусывая губы, которые дрожали от смеха, отвечаю я, но для этого мне необходимо иметь вашу Степаниду, вашу Марфушку, вашу спальню, вашу кухню...

Она перебила меня, делая большие глаза:

— Как, а мне сказали, что вы все можете. Какой же вы тогда комедиантщик?

И, раздосадованная, протянула, надув губы:

— Ну, так выучите Милорда хоть ездить на извозчике.

— То-есть, как ездить на извозчике?

— Да так. Веду я это его на цепочке по бульвару, а он вдруг вздумает сесть среди дорожки и я должна стоять около него, потому что его никак не стянешь с места, — собака ведь-во!—показала она выше стола на четверть. А когда пойдет,—уж я его уговариваю, уговариваю дойти до извозчика, чтобы скорее везти домой, а он вдруг заупрямится и тут, — ужасно упрямая собака,—сядет возле самого извозчика, на мостовой—и ни с места. Просто мучение. Приходилось давать свою визитную карточку будочнику, а он скликал народ, чтобы справиться с собакой. Стоят они все вокруг Милорда и тащат, и тащат, как слона какого-

нибудь, право, а я сижу на извозчике. Едва-едва втащат к ночи... Она перевела дух и важно добавила:

— Хорошо, что я при своих капиталах известна всем, даже самому князю Владимиру Андреевичу (Долгорукому), а то, что я бы делала без будочника, с моим Милордом?

Я едва сдерживал хохот.

— Скажите, сударыня, а сколько лет вашему Милорду?

— А вы уж сами узнаете у него. Он живет у меня без паспорта, как по-вашему, у собачников, без аттестации, но что стар, так стар, и на одно ухо глухой. Собачий доктор говорит, что он будто еще до меня был болен задними ногами, параличем разбит.

— Извините, сударыня, — отвечал я, уже прямо смеясь ей в лицо, — вашу собаку я не возьму.

Купчиха с Плющихи вскакивает со стула в бешенстве. Она собирается уходить, молча берет зонтик и вдруг всплескивает руками:

— Ах, батюшки, мой зонтик!

Оказывается, мой гусь, которого я выучил стрелять, т.е. дергать за шнурок, привязанный к курку пистолета, теперь видя перед собой зонтик, он стал дергать за его шнурок с кистью, пока не разорвал вдребезги.

Когда купчиха поднялась и повернулась ко мне задом, я ахнул — весь подол ее пышного шелкового платья был сзади сжеван, изгрызан, моим козлом привязанным в углу.

Купчиха ушла взбешенная.

Едва она уехала, в кабинет вваливается купец с кожаных рядов Варварки, в больших смазных сапогах, в длинном сюртуке с большой окладистой бородой и трехэтажным подбородком.

Сопя толстым носом и брызгая слюной, он торопливо начал выкладывать свои требования:

— У меня, господин комедиантшик, на дворе есть пес Барбос, шалый и не злющий. Сделай милость, обучи его, чтобы он тяпнул за ляшку этого мерзавца, рыжего Степана Федорова, который торгует против моей лавки, тоже кожаным товаром. Он, подлец, никакой, значит, торговой совести не имеет. Понизил цены без всякого совместного уговора, а товар-то у него — гнилье, — мы отлично знаем, откуда он его получает, и я могу...

— Позвольте, — перебиваю я расходившагося купца, — я этого сделать никак не могу.

— Как? Почему? Ведь мы можем вас убоготворить, — и он шлепнул пятерней по оттопыренному бумажником боковому карману.

— А говорят покупатели, что огаревскую собаку выучил арестантов грызть в участке.

— Говорят, что кур доят, — передразнил я его манеру говорить.

И я выпроводил „его степенство“ за двери.

V.

### Князевы приспешники.

Но вот дело дошло и до самого князя.

Княжеский камердинер посетил мою убогую квартиру и частным образом, не через полицию, как это у них было принято, передал желание генерал-губернатора видеть меня у себя в два часа дня.

Я отправился по приглашению.

Вход в маленькую приемную князя был с Чернышевского переулка через канцелярию.

Незадолго перед тем князь был в цирке у меня на бенефисе и, сидя в царской ложе, апплодировал мне за работу моего Бишки.

В приемной меня встретили чиновники; они вежливо предложили мне сесть и немного подождать.

Здесь я был один и зевал, рассматривая картины.

Один из чиновников первый заговорил со мной. Расспрашивая меня о цирке и о программе, он начал намекать, и довольно прозрачно, чтобы я его познакомил с нашей воздушной гимнасткой, красавицей Делаплатой...

Я обещал исполнить его желание при первом удобном случае.

Он был очень доволен. Мое обещание разом развязало ему язык и он мне сказал:

— Если вы хотите иметь выгодное дело с князем, то для этого необходимо поступать так, как я вас научу: я представлю вас правой руке князя, главному чиновнику Викторову, которому, что бы вы ни получили от князя, должны отдать половину. Если вам князь будет что-нибудь говорить или обещать без Викторова, знайте: это ничего не значит. Без Викторова у нас ничего не сделаешь, и если вы с ним не сговорились, вам не видать в следующую раз князя как своих ушей.

Я слушал, изумляясь и возмущаясь в душе, но не показывал чиновнику моих чувств.

В скором времени появился и Викторов, во фраке, со светлыми пуговицами, с портфелем под мышкой.

Впоследствии, когда я познакомился с окружающими князя людьми, я знал, какую большую роль играет в канцелярии губернатора Викторов, как он умеет ловко вертеть сиятельной особой.

Известны были многие, кажущиеся теперь легендарными, проделки фаворита.

Нужны князю для его благотворительных целей деньги. Крупная сумма. А Викторов уже тут как тут.

Подпишите ваше сиятельство эту бумажку.

Губернатор читает распоряжение о перемещении нескольких лесных складов с Краснопрудной улицы в другое, назначенное для этой цели, место.

Позвольте, но этого я вовсе не хочу...

Викторов улыбается:

— Будьте покойны, ваше сиятельство, все останется на своих местах. Тогда князь доверчиво подписывает.

Купцы, хозяева лесных складов, в страшной тревоге... Им приходится раскашеливаться...

Викторов собирает с купцов деньги, оставляет себе процент и вручает нужную сумму князю.

Тогда князь подписывает другую бумажку.

— Нахожу нужным распоряжение за таким-то номером—отменить. И все остается на своих местах.

## VI.

### История губернаторских собак.

Наконец, и я перед очами „сиятельства“. Губернатор спрашивает о моем методе дрессировки и, как любитель собак, которых у него в доме очень много, на пробу дает мне первый раз дрессировать собаку сенбернар—Барри, портрет которой красуется у него в приемной.

Сиятельное желание таково: когда собака услышит звук курка она должна броситься на человека, хватать его за горло и класть на землю.

Старому, дряхлому губернатору это было нужно якобы для поездки в вагоне, как защита от нападения.

Кому была охота покушаться на это тело?

Я согласился с горечью. Из хорошей доброй собаки я должен был сознательно делать злую.

Но ничего не поделаешь: тяжелые денежные обстоятельства заставили меня работать.

Началась дрессировка Барри.

Для того, чтобы выучить собаку тому, что мне было заказано князем, я должен был применить после обыкновенной начальной дрессировки следующий прием: я наскоро скототил из реек скелет чучелы и одел его в одну из моих старых пиджачных пар. Рваные сапоги и шляпа дополняли иллюзию. В соседней комнате за закрытыми дверьми, на стульях стояли два служащих, они держали за деревянные руки чучело.

Я взводил курок пистолета, двери распахивались и в них появлялось чучело-кукла. Барри моментально, сначала при наускивании, потом и без него, бросался на это чучело, рвал его и, когда оно падало на землю, рыча стоял над ним, пока я не отзывал его.

Кроме этого номера я выучил Барри вальсировать и, гуляя с ним по Тверской, ради шутки, заходил в кафейную булочной Филиппова.

Здесь, проходя между пустыми мраморными столиками с еще неубранными чашками из-под кофе, я заставил Барри пуститься в пляс, и пес, кружась, смахивал своим пушистым хвостом со столиков посуду; при громких криках публики и официантов, я, смеясь, расплачивался за убыток и уходил из кофейной.

Громадная собака внушала гуляющим на Тверской некоторый страх; Барри всюду сторонились.

Раз, гуляя с моим четвероногим учеником, я наткнулся на следующую сцену, которая в настоящее время может показаться невероятной. Будочник, стоявший на посту, видя как от нас шарахается в сторону публики, подошел ко мне и грозно сказал:

— Проходите, проходите... Очистите панель... Ступайте по мостовой...

Я захотел пошутить над строгим блюстителем порядка и, в свою очередь, грозно крикнул:

— А знаешь ли ты, любезный,—что это за собака?

Старик опешил.

— Не могу знать,—ответил он, насторожившись.

— А ты грамотен?

— Так точно.

— Так смотри на ошейник и читай.

Будочник наклонился и прочитал по складам:

„Собака Барри, принадлежит его сиятельству князю Долгорукову“. Он сразу неожиданно вытянулся во фронт и отдал честь собаке... Таковы были нравы, таково рабское подчинение и страх к начальству в то время.

Наконец, собака готова и я с нею в приемной у князя. У меня предварительный разговор с Викторовым. Викторов между прочим небрежно спрашивает:

— А сколько же вы рублей спросите у князя за собаку?

— Помилуйте,—отвечал я,—считаю этот вопрос слишком щепетильным,—с князя, я думаю, ничего.

— Тогда вы не увидите его больше никогда и потеряете дальнейшую работу.

— Но мне неудобно просить деньги...

— Подайте князю счет.

— Но у меня его нет.

— Садитесь и пишите. Я его вам буду диктовать.

Десять рублей за месяц жареная говядина, подстилка—3 р., ванна—6 рубл., мыло для ванны...

Я машинально писал, потом остановился и сказал:

— Позвольте, но ведь собака в ванне никогда не была.

— Не ваше дело,—отрезал Викторов,—я вам говорю, пишите.

И так дальше: служащему за уход в месяц—5 рубл., за устройство чучелы—11 руб. и за дрессировку 65 руб. Итого—100 рублей.

— Помилуйте,—взмолился я,—писать такой счет мне стыдно.

— Молчите,—раздался опять строгий голос Викторова,—50 руб. вы возьмете себе, а остальные положите в этот стол.

И вот я у князя. Князь доволен.

— Сколько я вам должен?—спрашивает он.

— Помилуйте, я...

— Ну, дружба-дружкой, а деньги врозь.

С величайшим смущением, проклиная судьбу и помня грозный голос Викторова, я говорю едва внятно:

— У меня счет...

— Ну, так бы и сказал.

Я боязливо подаю счет, желая провалиться сквозь землю. Князь, не глядя, подписывает его.

Внизу, из кассы канцелярии, я тотчас же получил деньги.

Второй собакой, полученной мною от князя, был Гювен, лапландской породы. Гювена привез доктор, который массировал князя в Лапландии.

Собаку пришлось дрессировать с большим трудом. Князь непременно хотел, чтобы Гювен, как в цирке, прыгал через палку, когда он будет ее держать в руке.

Мы, артисты, показываем этот номер в цирке так: берем в левую руку палку или обруч, ставим перед собакой, а правой рукой делаем знак собаке. Когда она прыгает, то мы „пассируем“. т.е. делаем вниз по воздуху полукруг, от этого получается особый эффект и облегчение животному.

Собаку выучить этому номеру легко, но как выучить старого неповоротливого губернатора „пассировать“ по цирковому,—это была задача трудная, даже, быть может, совсем неисполнимая.

Я так ясно представлял себе расслабленную фигуру, которая, согнувшись, держит обеими руками палку и мямлит робким расслабленным голосом:

— Ну, собачка, прыгай, прыгай!..

А сам не видит, где находится собака.

Приняв все это в соображение, я придумал особую дрессировку для Гювена и добился того, что собака, где бы она ни видела протянутую поперек палку, тотчас же начинала через нее прыгать. Помню с моим учеником лапландцем такой забавный случай. Гуляю с ним по Никитскому бульвару. Одна дама разговаривает с молодым человеком, стоя около дерева, и ковыряет машинально зонтиком древесную кору. Гювен увидел зонтик, протянутый поперек, вспомнил свою обязанность, бросился от меня и стал добросовестно прыгать через зонтик взад и вперед.

Дама, конечно, страшно перепугалась..

Я доканчивал обучение Гювена, согласно губернаторским капризам: учил тушить лапой сигары и мечтал поскорей отделаться от моего ученика, получив деньги за дрессировку, в которых я очень в то время нуждался.

Скажу правду, нужда-нуждой, но скверная атмосфера губернаторской канцелярии успела развратить меня, и я готовился на этот раз закатить князю большой беззастенчивый счет, чтобы так или иначе наказать за губернаторские капризы.

Но судьба мне сулила с Гювеном иное..

Раз утром, проснувшись, я не нашел в своей квартире Гювена. Я бросился искать его по соседним дворам, заглядывал во все закоулки и, без всякого результата, голодный и измученный, поздно вечером возвратился домой. Все мои поиски и моих служащих были напрасны..

На следующий день я разослал моим товарищам срочные телеграммы, прося немедленно притти ко мне. Одиннадцать чело-

век из молодежи, однолеток со мной, явились на экстренное совещание.

Узнав о моем горе, товарищи тотчас же вызвались мне помочь и отправиться на поиски пропавшей собаки. Они разбили город на части, распределили между собой кварталы и поклялись не щадить сил для поисков.

Искали добросовестно, спрашивали почти в каждом доме, наткнулись на разные неприятные объяснения и даже скандалы, но поисков не бросали. Все было напрасно. Собаки не находилось...

Я стал уже готовиться удирать из Москвы...

О пропаже губернаторской собаки узнали агенты полиции и дали знать Огареву.

Обер-полицеймейстер встретил меня в цирке, грозно нахмурив брови сказал:

— Отыщи, во что бы то ни стало собаку, иначе ты забудешь, как твоя фамилия.

По всем участкам были разсланы полицией циркуляры.

В то время как раз разразились студенческие беспорядки Полиция вся была на ногах в этот тревожный день, телефоны то и дело звонили в участки и сообщали о том, что пропала губернаторская собака.

Я терял всякую надежду и для очистки совести продолжал поиски...

По привычке проходя по Грачевке, я зашел к собачникам (торговцам собак), зная, что часто к ним приводят чистокровных собак и что они их охотно покупают за гроши и отправляют в провинцию для продажи.

Я вошел в открытую калитку и, пройдя маленький дворик, заглянул в окно сарайчика, где выли собаки. Гювена među ними не было, но я все-таки зашел в комнаты продавца и, увидав его, стал рассказывать о моей пропаже, предлагая за собаку большое вознаграждение.

Собачник уверял, что такой собаки не видал.

— Подите, поглядите в сарае сами, — говорил он, — никакой лапландской собаки я и не видывал...

Я не пошел, я уже знал, что в сарае нет Гювена, но почему-то глядя на хитрое, продувное лицо собачника, я был уверен, что он знает, где мой лапландец.

— Коли хотите, — предложил мне собачник, — я, так и быть, пойду схожу к соседу, он ведь тоже псами торгует, может, у него ваша собака.

Я кивнул головой.

Он ушел, а я остался.

Как только собачник скрылся за дверью, я услышал глухой лай. Сердце мое тревожно забилося... Я приложил ухо к полу и стал слушать...

Мое искусство звукоподражания помогло мне. Я стал громко лаять по собачьему и в ответ услышал из под пола глухой собачий лай.

Это открытие меня сильно взволновало. Я думал:

Гювен там внизу; необходимо во что бы то ни стало его найти.

Но вернулся собачник и заявил:

— У соседа сейчас нет ни одной собаки.

Заявив мне это, он ждал, что я уйду, но я не уходил, я сидел, обдумывая, что мне теперь делать.

Торговец старался всячески выпроводить меня из комнаты; наконец, я должен был уйти, когда он грубо сказал:

— Ну, прощенья просим, пора людям и покой дать. Идите себе, видите—вашей собаки здесь и не видывали.

Я ушел и бегом побежал к первому попавшемуся извозчику. Записав его номер, я сунул ему в руку наскоро написанную карандашем записку к приставу нашей части. Извозчик быстро пока-тил, а я пошел обратно к собачнику.

Я боялся, что он может запрятать краденых собак в другое место.

Собачник встретил меня враждебно:

— Чего вам надо? Сказано ведь вам насчет собаки, а вы опять лезете...

— Видите, у меня пропала собака и я хотел вас спросить, где я могу достать похожую...

— А я почему знаю? Других пород найдешь, а лапландской такой я отродясь не видывал...

— Но, может быть, вы возьметесь поискать мою собаку.

— Да что я сыщик, что ли?

— Видите, за одного лапландца я бы мог вам доставить несколько других. Я имею возможность, у меня даже сейчас есть чудный санбернар... Есть несколько сетеров... Пудель...

Я лгал ему, сочинял разные небылицы, все для того, чтобы выгадать время, а сам все прислушивался, не слышно ли на мостовой стука колес.

Он смотрел хмуро и почти не отвечал, но вдруг повернулся ко мне круто и почти закричал:

— Да чего ты толкуешь мне по пусту! Врет-врет; сказано: ступай. Мне с тобой толковать недосуг.

Он подошел ко мне вплотную, схватив меня за руку и грубо закричал:

— Ну, ты убирайся. Чего, ночевать здесь задумал? Уходи!

Вдруг я услышал отдаленный звук дрожек, и через несколько минут в квартиру собачника ввалился квартальный надзиратель в сопровождении трех будочников.

Собачник растерялся...

Собака Гювен здесь, — заявил я вошедшему квартальному надзирателю, — она в этой комнате, я сам слышал ее лай.

Собачник стал клясться и уверять:

— Мальчишка все врет, он с ума сошел... Привязался и не уходит... Извольте посмотреть в сарае, там нет вашей собаки... я...

Он не докончил. Надзиратель, ни слова не говоря, изо всей силы ударил собачника в зубы. Тот упал на пол обливаясь кровью...

— Говори, где собака!—закричал надзиратель.

— Ей богу, ваше-скородие, я не знаю...

Удары за ударами посыпались на лежащего на полу собачника. Я уже раскаивался, что затеял эту историю и боялся, не показался ли мне лай Гювена. А вдруг это лаяли другие собаки!..

И, в ужасе от мордобития, я стал уговаривать надзирателя:

— Пожалуйста, не бейте его... Я слышал вой, но, может быть...

— Теперь это дело не ваше,—перебил меня пристав.—Теперь это дело полиции.

Битье участилось...Надзиратель теперь уже сапогами бил лежащего на полу собачника...Картина была ужасная: к надзирателю присоединился старый будочник и каблуком со стальной подковой ударил в голову торговца.

У собачника вырвался стон:

— Пустите, пустите. Я сейчас все покажу.

Два будочника подняли его под руки с пола. Он отодвинул кровать и сундук, схватился за большое кольцо, вделанное в пол и открыл люк потайного погреба.

Мы спустились по крутой лесенке, три собаки, между которыми был и Гювен, бросились к нам с визгом.

.....  
Невесело было у меня на душе, когда я отправился к князю Долгорукову. Я ждал от него грома и молний, когда я заговорил об истории с Гювеном. К моему удивлению, он отнесся к этой истории совершенно равнодушно...

В этот же раз он поручил мне дрессировать красивого буль-терьера. Задания были рядом капризов, заставлявших портить собаку: должен был научить ее тушить лапой сигары, нападать на входившего в дверь без доклада и т. д.

Эта дрессировка отняла у меня много времени.

Раз как-то является ко мне важный, с бакенбардами, похожий на англичанина, человек и заявляет, что он лакей банкира Полякова. Он передал мне карточку Викторова, в которой Викторов писал, чтобы я вручил буль-терьера подателю, так как „его сиятельство изволили подарить эту собаку Полякову“.

Мне пришлось отдать лакею буль-терьера.

Тут передо мной встал вопрос: с кого получить за собаку деньги,—с Долгорукова или с Полякова.

Камарилья князя за это время меня достаточно испортила и я уже приготовился написать довольно беззастенчивый счет.

Подумав, я решил поехать к Полякову. Каково же мое удивление, когда Поляков бросил мне высокомерно:

— Мне дрессированных собак не надо.

Я поехал не солоно хлебавши домой, а через две недели мой служащий привез мне со Смоленского рынка буль-терьера, всего измазанного в дегтю, израненного.

Я принялся за ним усиленно ухаживать, лелея мысль, что князь узнает, как относятся к его подаркам.

Собака у меня на руках, я вхожу по обыкновению в канцелярию губернатора с Чернышевского переулка и встречаю там обер-полицеймейстера Огарева.

— Ты куда?

Я рассказал в чем дело...

Огарев не дал мне договорить.

— Поварачивай-ка оглобли назад,—сказал он.

Я ничего не понял и смотрел на него во все глаза. Тогда он наклонился и вполголоса сообщил:

— Князь очень много должен Полякову и эту собаку подарил ему в виде процента. Жалоба твоя будет неуместна.

Так я был наказан за свою „алчность“.

## VII.

### В дни студенческих беспорядков.

Москва проснулась от спячки. В Охотном ряду мясники били студентов, направляемые полицией.

Казаки раз'езжали по улицам и, завидев кучку в пять-шесть студентов, сейчас же под'езжали к ним и разгоняли нагайками. Но в цирке на галерке студентов скопилось много.

Вся эта история студенческих беспорядков мне была известна как одному из немногих. А москвичи не знали, в чем дело. Толков и пересудов не было конца...

Мясники били студентов приговаривая:

—Ага, ты против России!

Газеты молчали. Им было запрещено писать о беспорядках, а я не мог молчать...

Выходя на арену, я позвал шталмейстера, артиста, который плохо говорил по-русски, поставил его на средину арены и сказал:

—Забек, вообразите себе, что вы умный человек.

—Корошо—отвечал артист, стонаясь в позу.

—Вообразите себе, что вы директор или инспектор...

Студенты на галерке зашущукались, в толпе задвигались. Я нарисовал на руке мелом звезду, ударил этой рукой по физиономии Забека и сказал, обращаясь к публике:

—Смотрите у него на щеке звезда.

Весь цирк задрожал от криков:

—Браво, Дуров. браво!

Студенты понимали и аплодировали... Они заразили ничего не понимающую толпу, публика спрашивала друг у друга, в чем дело. Студенты раз'ясняли историю со звездой...

И несмотря на то, что я стал показывать и рассказывать другое, крики «браво» не прекращались, публика перелезала из галереи в места и, несмотря на протесты биллетеров и полиции, демонстративно кричали, становились на барьер, вскакивали даже на арену. Дано было знать Огареву. Представление прекратили, газ был потушен раньше времени...

Приехавший Огарев не дал мне разгримироваться и строго сказал:

— Смазывай морду.

Накинув на меня мою же шинель, он отправил меня на своей паре в Тверскую часть.

— В чем же было дело?

В то время в университете был всеми нелюбимый инспектор Брызгалов, человек придирчивый, желчный и подлый.

У студентов еще не было никакой формы. Они ходили в красных и черных рубашках, на выпуск, с пледями вместо пальто, которые служили им одеялами, и с длинными волосами.

В университете только-что ввели форму, но студенты ее не заводили и продолжали ходить по старому, в косоворотках. Брызгалов требовал выполнения циркуляра и придирался к «бесформенным» студентам.

Наконец, терпение у студентов лопнуло, и на сходке было решено избавиться во что бы то ни стало от ненавистного инспектора.

Единственным средством было устроить скандал и оскорбить его публично.

Один из студентов должен был пожертвовать для общего дела собою. Кинули жребий, и он пал на молодого студента Суханова, которому было поручено дать по физиономии Брызгалову в Благородном Собрании публично, что он и выполнил в точности.

За это оскорбление Брызгалов, как заслуженный инспектор, получил звезду от правительства, но должен был подать в отставку, — это то и требовалось студентам.

А Суханов был «устранен».

На следующей день мне из Тверской части пришлось в сопровождении будочника перейти напротив, в дом генерал-губернатора, но меня повели уже не с Чернышевского переулка, а по парадной лестнице в общую приемную канцелярии.

Губернатор вышел, увидев меня, велел поставить стул среди пустого зала, указал мне на него пальцем и сказал коротко:

— Сиди, пока я не приду.

Мне пришлось просидеть четыре часа сряду одному, слушая бой часов и рассматривая узоры на потолке.

После томительного ожидания дверь отворилась, и князь крикнул мне с порога:

— В следующий раз ешь пирог с грибами и держи язык за зубами. А теперь уезжай из Москвы и до тех пор не являйся, пока не забудут твоей фамилии.

### VIII.

### Нравы.

О князе и окружающей его камарилье я мог бы еще много рассказать, но для этого пришлось бы исписать целые томы...

Для характеристики нравов того времени и взглядов на нашего брата артиста приведу еще лишь один случай.

Стою я во время антракта загримированный в проходе цирка. Кругом бродит публика, осматривающая конюшни, лошадей, животных и помещения в денниках. Праздные люди при этом часто суют животным в клетки огрызки сигар, шелуху от подсолнухов и обманывают обезьян, завертывая в конфетные бумажки пуговицы, или поднятые здесь же камешки.

Я стоял и наблюдал, чтобы моим животным не было вреда от этого озорства. Вдруг я увидел группу интеллигентов, направляющихся из конюшни на места.

Я узнал среди них Огарева, сына редактора „Московского Листка“ В. Н. Пастухова, они весело болтали с разодетыми в пух и прах дамами, указывали на меня и громко смеялись.

Поровнявшись со мной, Пастухов, видимо, чтобы блеснуть своим остроумием перед дамами, полудружеским тоном обратился ко мне:

— Неправда ли, Дуров, что клоунам необходимо иметь глупое лицо?

Дамы захихикали...

— Да, отвечал я,—если бы имел твою физиономию, то получал бы вдвое больше жалованья.

### Свинья, как политический импульс.

В 90-х годах в старом Петербурге градоначальником был Грессер, гроза всех петербуржан.

Это было время, когда в „высших“ кругах были в ходу все виды разврата.

Князь Мещерский, редактор газеты „Гражданин“, ухаживал за одной из цирковых артисток Нони Б.

Нони постоянно избегала встречи с князем и жаловалась мне на свою судьбу.

Мне наскучили эти жалобы, и я решил во что бы то ни стало отвадить Мещерского от посещения цирка.

Раз, когда влюбленный князь сидел во время моего выхода в первом ряду, я разложил на арене цирка три газеты... Между ними был и „Гражданин“.

— Чушка,—сказал я моей свинье,—выбирай себе газету.

Свинья подошла к первой газете, ткнула ее носом и отвернулась, подошла ко второй,—тоже самое и, когда нашла газету „Гражданин“, то нежно захрюкала и стала ковырять ее своим пяточком.

Этот номер я подготовил в две репетиции.

Я брал три газеты и под одну из них между листами попеременно клал мясо.

Свиньи обладают прекрасным чутьем, и моя Чушка искала лакомый кусок, а когда находила, начинала ковырять газету пяточком, чтобы свернуть ее и съесть мясо.

Едва Чушка с победоносным видом подняла на пяточке „Гражданин“, я громко заявил:

— Одним свиньям подобает читать эту газету.

Князь Мещерский был возмущен, он тяжело поднялся, весь красный от негодования, и оставил цирк навсегда.

Как благодарен был мне мой цирковой товарищ Нони.

Но шутка эта имела и свои последствия.

Князь Мещерский был в хороших отношениях с Грессером и, понятно, пожаловался ему.

Настал бенефис директриссы цирка Чинизелли. Сбор был полный. Оставили ложу для Грессера. Он известил цирк, что приедет.

Я знал, что Грессер не оставит меня в покое за князя Мещерского и приготовил ему сюрприз.

И вот Грессер в ложе. Я вывожу на арену свинью с несколькими поросятами...

— Das ist eine kleine Schwein, diese—eine grosse und diese ist noch grösser<sup>1)</sup>),—сказал я, указывая на свинью с поросятами.

Так я обругал Грессера большою свиньею.

Сверх ожидания, Грессер вел себя совершенно не так, как другие.

Несмотря на то, что все взоры были обращены на его ложу, а интеллигенция и студенты на галерке шумно аплодировали, Грессер не показал и вида, что понял мою шутку, он оставался спокойно сидеть до самого конца представления.

Я знал, что моя участь решена, и что я со дня на день должен ожидать высылки. Но проходили дни, а распоряжения о высылке не было... Настал мой бенефис.

В то время финансы России были в плохом положении, и русский рубль очень низко пал.

Я придумал на свой бенефис новую шутку, которая, мне казалось, расшевелит публику.

Но для нее мне прежде всего пришлось сговориться с артистами, стоявшими в униформе<sup>2)</sup>.

Я бросил на арену серебряный рубль и сказал:

— Чушка, подними его.

А так как я свинью не учил поднимать рубль, то она, понятно, не обратила на него никакого внимания.

Артисты, предупрежденные мною заранее, стали смеяться:

— Как же это ваша свинья не может поднять рубль?

— Что же вы хотите от свиньи?—возразил я, когда министр финансов Вышнеградский его не может поднять!

На следующий день я получил предложение от градоначальника в 24 часа выехать из Петербурга.

Несмотря на хлопоты и просьбы таких лиц, как, например, артистки Неметти, за которой усиленно ухаживал сам Грессер,—я должен был уехать.

Моя первая жена была в то время в последнем периоде беременности и, боясь остаться одна в Петербурге, а еще больше боясь ехать со мною неведомо куда, сама отправилась просить Грессера об изменении его приговора.

<sup>1)</sup> Это маленькая свинья, это—большая, а это—еще больше.

<sup>2)</sup> Артисты, одетые в особую форму, помогающие своим товарищам, выступающим на арене.

Ее встретил в градоначальстве чиновник особых поручений Грессера Лебедев, который сказал:

— В вашей просьбе допустить вас к Грессеру я вам отказать не могу, но я должен заявить вам, что как только Грессер услышит от вас фамилию вашего мужа, он тотчас же прекратит с вами всякий разговор.

Жена это хорошо запомнила и по своей молодости и наивности решила:

— Прежде буду просить, а потом скажу за кого.

И вот она в приемной у Грессера. Кругом тьма просителей...

Грессер обходит ряды страстно ожидающих его людей и, беря из рук их прошения, громко говорит:

— Что вам угодно? А вам? А вам?

— Что вам угодно, сударыня?—обратился он, наконец, и к моей жене.

Дрожащим голосом она отвечает:

— Умоляю вас, ваше превосходительство, простите моего мужа, он больше никогда не будет ничего говорить, это его научили...

— Фамилия вашего мужа, сударыня?

Жена, помня слова полковника, поспешно заговорила:

— Ради бога, пожалейте меня... мы не можем ехать, ваше...

— Фамилию вашего мужа, сударыня!—громко закричал Грессер, видимо догадавшийся, с кем он имеет дело.

— Ваше превосходительство...—бормотала жена, обливаясь слезами,—я должна родить, я больна...

— Я в этом не виноват,—крикнул Грессер, показывая пальцем на живот несчастной женщины.

После его грубой и пошлой остроты жена, рыдая, ушла.

И мы должны были уехать...

Вот как „его превосходительство“, царь и бог Петербурга, отомстил за мою шутку со свиньями.

## Фон-Валь.

В самой низменной части одной из главных улиц Курска, рядом с фонтаном, стоял временный деревянный, под парусиновой крышей, цирк. Не помню в каком году, в одно летнее утро когда я шел на репетицию, я заметил, что город вдруг точно преобразился.

Мясные лавки имели какой-то праздничный вид; куда девались засаленные передники мясников; они были одеты, что называется, „с иголки“ и подпоясаны белоснежными фартуками, маляры торопливо подмалевывали вывески, дворники чистили тротуары...

Что бы это значило?

Оказалось, что в Курске новый губернатор,—новая метла и город должен был подтянуться.

— Новый губернатор барон фон-Валь очень строгий... — подобострастно, с придыханием говорил полицеймейстер, — у него чтобы все было по струнке, одним словом, — гроза,

Валь был типичным губернатором, „грозой“, каких немало встречалось в старой дореволюционной России. Громить и разносить своих подчиненных, — это вошло в привычку у „начальства“, особенно в захолустных городах и местечках. Валь умел это делать особенно.

Он не церемонился в выражениях, особенно, когда имел дело с простым народом или с лавочниками.

Для Валя нужна была декорация, внешний лоск, порядок, чистота улиц. Но скоро новые фартуки заменились старыми и миллиарды мух начинали вновь кружиться над висящими тушами мяса.

В это воскресенье губернатор приказал назначить смотр пожарных машин. К нашему цирку возле фонтана с полудня стали с грохотом подкатывать пожарные паровые машины; к двум часам дня ждали Валя, который хотел убедиться, что городская пожарная команда будет выше выбрасывать воду, чем добровольческая. На последнюю Валь смотрел, насупив брови, как на что-то вольное.

Толпы народа собрались у нашего цирка. Паровые машины начали работать, демонстрируя тушение пожара.

Струя за струей с треском направлялись в небо и падали на землю; вода все ближе и ближе подступала к цирку, образуя ручейки и целые лужи.

Наши балерины в розовых туфельках с визгом бегали по цирку, забирались в уборные. Они промочили ноги и запачкали туфли, которые шили сами всю ночь, усталые после представления.

Уборные все больше и больше наполнялись водой. Наводнением остались довольны только мои свиньи.

Искры от парового насоса прожгли новенькое шапито (парусиновую крышу), для покупки которой директор цирка продал в прошлом году две любимые лошади, и директор был огорчен, но не повесил носа, и решил хоть немного возместить свои убытки: он стал торопиться начать представление, пока публика не разошлась от цирка.

Быстро была составлена программа. Артисты бегом принесли с квартир костюмы и по удару колокола, как в балаганах на раусах\*) публика явилась в цирк, как на экстраординарное представление.

Валь был настроен благодушно, городская трубахватила выше всех, и он на радостях сделал первый почин, заняв в цирке ложу. Понятно, что за ним потянулась и вся администрация города. Публика также спешно брала билеты.

Я должен был в первом отделении выйти в репризе\*\*).

\*) Раусы — балконы в балаганах.

\*\*) Артист клоун и наездник в момент передышки или отдыха занимают публику. Короткая шутка тоже называется репризой.

Наскоро надев свой клоунский костюм и загримировавшись, я вышел к наездникам с криком:

—Батюшки, несчастье! Городская пожарная машина загорелась!

Эти слова моментально испортили настроение духа губернатора, и с этого момента у нас началась глухая борьба.

Не буду останавливаться на мелких придирках полицеймейстера, который подметил неприязненное выражение на лице губернатора при взгляде на меня,—не буду упоминать и о мелких придирках полиции ко мне и к цирку,—расскажу, что случилось у меня с Валем.

Из Курска впоследствии фон-Валь был назначен градоначальником Петербурга. Ретивность барона сделала ему карьеру.

В описываемое время в Курске в высшем свете первым лицом была графиня Клейнмихель, сын которой, кадет пажеского корпуса, был завсегдаем цирка и вместе со своим другом, князем Касаткиным-Ростовским, постоянно вертелись в уборных и конюшнях, распространяя запах духов...

Тогда оба были еще мальчиками. Впоследствии я с ними столкнулся в Петербурге в цирке Чинизелли, когда они уже были взрослыми. Молодые прожигатели жизни, в блестящих офицерских костюмах, они сидели в первом ряду ложи у барьера, у самого главного хода в цирк.

Был модный субботник, неизменно посещаемый любителями цирка из аристократии; ждали генерал-губернатора фон-Валя.

Я узнал, что с минуты на минуту явится мой заклятый притеснитель и с нетерпением ждал его.

Полиция зашевелилась у входа, как муравьи в муравейнике, отдергивая тяжелую портьеру, чтобы пропустить блестящего генерал-губернатора.

Я прервал на полуслове свою речь, сделал паузу и, приложив многозначительно палец к губам, на ципочках подошел к барьеру, всгал на него и сказал:

—Шшш... Валь идет \*).

Валь появился. Гром аплодисментов в верхних рядах, хихиканье, перешептывание в первых рядах.

Клейнмихель и Касаткин-Ростовский помогли распространить в высших кругах мою злую шутку. У Валя было много врагов и шутка переходила из уст в уста...

### Адмирал Зеленый.

В Одессе существовали две газеты. Одну из них „Новороссийский телеграф“—редактировал черносотенник, юдофоб (гонитель евреев) некто Азмидов.

Градоначальник Одессы, адмирал Зеленый, всячески покровительствовал редактору „Новороссийского Телеграфа“ Азмидову и сам глумился, где только мог над евреями.

\*) Шваль—Шшш . . . Валь.

Рассказывали, что он призывал к себе старого еврея, который соблюдал древний обычай носить „пейсы“ и, собственноручно осыпая грубой бранью и насмешками перепуганного на смерть еврея, отрезал ему ножницами пейсы, всячески глумясь над ним.

Он до того ненавидел евреев, что когда ему раз пожаловались на одного из них и тот оказался невиноват, адмирал крикнул:

— Так запишите его в книгу воров!

Конечно, на самом деле такой книги вовсе не существовало.

Адмирал Зеленый держал город в вечном страхе арестов и высылки.

При встрече с ним все должны были вставать и снимать шляпы. Столкнувшись раз с гимназистом, грозный адмирал закричал на него:

— Шапку долой!

А так как гимназист растерялся, Зеленый сбил с него фуражку и надрал уши.

После этого директор гимназии просил Зеленого приехать в учреждение для того, чтобы ученики знали его в лицо и при встрече знали бы, перед кем снимать фуражку.

Все эти возмутительные истории заставили меня обратить внимание на всесильного диктатора Одессы и бороться с ним посредством сатиры.

Мое первое выступление. Я приготовил колпак из толстого картона, на котором была наклеена газета „Новороссийский Телеграф“, надел на мою дрессированную свинью, крепко привязав к ушам и шее так, чтобы название газеты было ясно видно.

Потом я спросил одного одессита, как зовут Азмидова.

— Он подписывается Михаилом Павловичем, а на самом деле его зовут Михаил Лукич. Говорят, он скрывает свое не то греческое, не то армянское происхождение, желая быть истинно-русским и тем угодить Зеленому.

Я просил своего собеседника указать незаметно пальцем из-за занавеса на Азмидова, который сидел в первом ряду.

Музыка грянула наш выходной марш, и я пошел на арену.

Едва я показался со своей свиньей, меня встретил хохот, крики, аплодисменты, кругом только и слышалось:

— Колпак... Колпак...

— Ты видишь, что напечатано на колпаке?..

— Ну, и шутка!..

— Ловко, брат!

— Попал, что называется, в самую точку!

Кончиком шамбарьера\*) я показал своей свинье, куда надо было бежать и где остановиться.

Свинья стала, как раз против сидящего в первом ряду Азмидова. Я позвал ее:

— Чушка, поди сюда.

А сам держал шамбарьер в одном положении, не позволяя этим ей двинуться с места.

\*) Шамбарьер—хлыст с длинной ручкой, употребляемый при дрессировке.

— Свинья, поди сюда.

Она не двигалась, несмотря на мои повелительные крики. Тогда я сказал:

— Виноват, теперь с каждой свиньей надо обращаться вежливо. Михаил Лукич, пожалуйста сюда!..

А сам незаметно для публики шевельнул шамбарьером. Свинья увидела направление шамбарьера и смело подошла ко мне.

Гром аплодисментов мне и моей свинье.

И вдруг, на глазах у многочисленной публики, под свист, хот и аплодисменты поднялся со своего места Азмидов и вышел из цирка.

На следующий день к цирку под'ехал роскошный экипаж. Князь Святополк-Мирский, командующий войсками Одесского Округа, сам явился в кассу покупать себе ложу и пожелал видеть меня.

За мной послали.

Первые слова князя Святополка-Мирского были:

— Вы у нас в России считаетесь самым лучшим дрессировщиком животных. Между прочим у нас из-за границы есть запрос о дрессировке собак для военных целей. На самом же деле у нас, к несчастью, это дело обстоит слабо. Вы можете нам помочь. И я надеюсь воспользоваться вашим талантом. Мы выберем для вас в ученики более развитых и грамотных нижних чинов. Приезжайте ко мне, — пожимая мне руку добавил князь, — мы об этом подробно поговорим.

А в это время Азмидов уже жаловался генералу Зеленому на меня, рассказывая о вчерашней выходке в цирке...

И вот вдруг градоначальник, не предупреждая, приехал в цирк посмотреть на „этого нахала“, который осмелился вышучивать его любимца.

Первое отделение уже началось, цирк был переполнен.

Я сидел за столиком в буфете, спиной к входной двери.

В это время раздался шум, и в буфет вошел Зеленый в сопровождении полиции.

Все, находившиеся в буфете, встали из-за своих столиков; один только я сидел неподвижно и продолжал курить.

Зеленый грозно мне крикнул:

— Встать!

Я сделал вид, что ничего не слышу...

— Встать!, — еще громче закричал Зеленый.

Тогда я, повернув к нему свое лицо, спокойно и вежливо ответил:

— Я не имею чести вас знать.

— Встать! — опять закричал Зеленый и раздраженно крикнул своим приближенным:

— Скажите же этому олуху, что я Зеленый.

На это я отвечал резко и четко:

— А, Зеленый! Ну, когда ты дозреешь, тогда я и буду с тобой разговаривать.

Публика потом рассказывала, что в этот момент у стоящего, вытянувшись помощника полицеймейстера Шангереев ус поднялся от улыбки, но моментально опустился вниз.

— Взять!, — загремел Зеленый, багровея.

Полицейские бросились на меня, но я вцепился руками и ногами в стул, так что пришлось меня вынести вместе со стулом из буфета. Я все-таки не встал.

— Отправить!, — сказал Зеленый Шангерееву.

Помощник полицеймейстера, держа руку под козырек, сказал робко градоначальнику:

— Это и есть тот Дуров, которого ваше превосходительство приехали смотреть. Его ждет вся публика. Если его сейчас убрать, выйдет скандал. Позвольте ему кончить представление и тогда мы уберем его из Одессы с первым уходящим поездом.

Я на минуту задумался. Э, заодно. И я подозвал служащего:

— Ищи мне скорее зеленую краску.

Несколько служащих заметались по цирку, разыскивая зеленую краску, они приносили мне разные краски, но все это было не то. А время шло... Тогда я схватил голубую краску и намазал ею свинью.

— Ничего, говорил я себе, правда, краска грязная, но вечером при огне она похожа на зеленую.

Я волновался, надевая костюм, я заранее угадывал эффект, который произведет моя чушка...

Когда мы, я и моя свинья, появились на арене, восторженным крикам публики не было конца.

Она шумела, кричала, стучала палками и ногами, апплодировала, а в губернаторской ложе стоял, высунувшись из нее наполовину и упираясь руками в барьер, сам градоначальник и что-то кричал. Его голос заглушали общие крики, а я сложив руки на груди стоял неподвижно посреди арены.

Вбежал маленький толстый старик, директор цирка Труцци, с черными усами, во фраке и, ругаясь по итальянски, схватил свинью обеими руками за ошейник и хотел увести в конюшню.

Но не тут-то было, свинья уперлась — и ни с места.

Труцци махнул рукой, прибежали кучера. Кучера стали толкать мою свинью, сдвигать ее с места, но все напрасно. Свинья крепко стояла на своих мускулистых ногах.

Появился на арене и пристав, он замахнулся и ударил свинью концом висевшей у него с боку сабли. Свинья завизжала благим матом... На этот визг был ответом хохот публики и крики „браво, пристав“.

Пристав покраснел, подобрал свою саблю и в смущении скрылся за занавесом...

Эта история не кончилась бы никогда, если бы я, погладив ласково свою свинью, не увел ее с арены...

Дежурному приставу было поручено всюду следовать за мной, пока я справлю свои дела, и проводить меня до вагона с первым отправляющимся из Одессы поездом. Эта высылка была не в 24 часа, а в 6.

Меня спросили, чтобы я указал город другой губернии, куда я желаю ехать; я указал Харьков.

Публика, находившаяся на представлении, большей частью молодежь — студенты, с'ехала на вокзал провожать меня и устроила мне демонстрацию.

Пристав, следовавший за мною, толстый как бочка, пыхтя и потя шел за мной шаг за шагом. Я в конюшню, — он за мной, я в буфет и он за мною, задыхаясь от жира. В конце-копцов, он не выдержал и стал меня просить, чтобы я хот на минутку присел. Он сказал:

— Пожалейте меня, я человек семейный, присядьте на минутку, я вас угощу за свой счет.

— Признаться сказать, я глумился над ним. Пристав был всеми нелюбимый.

Когда я приехал с женой на вокзал, пристав вручил мне билеты, я сел в вагон, молодежь окружила мой вагон тесной толпой, смеялась, аплодировала, свистала, когда поезд, наконец, тронулся, я видел, как пристав перекрестился и облегченно вздохнул.

Сидя в вагоне, я, понятно, решил не исполнять приказания Зеленого, тем более, что мои животные и багаж остались в Одессе. Я на первой же станции „Малая Одесса“ вылез из вагона и вернулся обратно. Полковница, вдова, у которой я снимал квартиру, увидя меня всплеснула руками и стала умолять, чтобы я ее не подводил.

Пришлось мне бродить по улицам Одессы до 10 часов утра.

Утром я явился к князю Святополку-Мирскому.

Князь ничего не знал и принял меня в своем кабинете радушно. Предложив сигару, он стал развивать план относительно школы дрессировки.

— Виноват, — перебил я князя, — но я выслан из Одессы.

— Как., — удивился Святополк-Мирский.

Я рассказал ему в кратких словах о том, что во время представления выкрасил свинью в голубую краску, а градоначальник подумал, что в зеленую, и умолял похлопотать за меня.

Я сказал:

— Возвратите мне Одессу, а я буду учить вам солдат.

Князь, смеясь, обещал и заставил меня написать к Зеленому прошение.

Я поехал в Бендеры и через неделю вернулся обратно.

Находясь у себя на квартире, я не имел покоя. С одной стороны нытье полковницы, с другой стороны — каждый звонок заставлял меня прятаться за ширмы.

Дня через три раздался резкий звонок и является сам пристав, Я сижу за ширмами и слышу, как он обратился к моей жене, говорит:

— Можете послать вашему мужу в Харьков телеграмму,

И, вынув из портфеля бумагу, прочитал ее вслух:

„Высланный из Одессы в 1900 году административным порядком В. Л. Дуров ныне обратился ко мне с ходатайством



М. В. Д.

Копія с копіи.

ОДЕССКАГО  
ГРАДОНАЧАЛЬНИКА  
КАНЦЕЛЯРІЯ.

Г. Харьковскому Полиціймейстеру.

Ст. Суд.

Сентября 15 дня 1893 г.

№ 12123.

Одесса.

М. Герб. марки.

Высланный в 1890 году из Одессы административнымъ порядкомъ дворянинъ Владиміръ Леонидовичъ Дуровъ обратился ко мнѣ ныне съ прошеніемъ, въ которомъ ходатайствуетъ о разрешеніи ему пріѣхать въ Одессу для постановки

представленій съ дрессированными животными.

Находя ныне возможнымъ удовлетворить упомянутое ходатайство Дурова, предлагаю Вашему Высокоблагородію распорядиться объявленіемъ о томъ Дурову, по жительству его въ гор. Харьковъ, гостинница „Руфь“, предваривъ его при этомъ, что если бы онъ вновь позволилъ себе какие-либо неприличные выходки и неумѣстныя шутки во время представленій, то немедленно опять будетъ высланъ из Одессы административнымъ порядкомъ.

Подписаль Градоначальникъ Генераль-Лейтенантъ Зеленой и Правитель канцелярии (подпись). С подлиннымъ вѣрно: Елисаветградскій Полиціймейстеръ Н.

Съ подлиннымъ вѣрно:

И. Д. Письмоводителя (подпись).

Что дѣйствительно настоящая копія съ подлиннымъ во всемъ вѣрна и выдана дворянину Владиміру Леонидову Дурову, вслѣдствіе его просьбы, въ томъ Ейское Городское Полицейское Управление подписомъ и приложеніемъ казенной печати свидетельствуетъ. Подлежащій гербовой сборъ уплаченъ. Октября 10 дня 1894 года.

Полиціймейстеръ (подпись).

И. Д. Письмоводителя (подпись).

М. П.

№ 7566.

разрешении ему вновь приехать в Одессу для постановки представления с дрессированными животными. Находя ныне возможным удовлетворить ходатайство Дурова, предлагаю вашему высокоородию г. Харьковскому полицеймейстеру об'явить об этом Дурову, живущему в Харькове в гостинице „Руф“, пред'явив при этом, что если он вновь позволит какие-либо неуместные шутки во время представления, то вновь будет выслан административным порядком из Одессы“.

Я не вытерпел, захохотал и вышел из-за ширмы.

Пристав разинул рот, пятась назад к дверям, бормотал:

— Я вас не видал... я вас не видал... Я не чего не знаю... я... я... я..

И ушел.

Впоследствии я эту бумагу, играя в цирке, вывешивал около кассы, рядом с моими рекламами и публика читая смеялась.

### Свистать вы можете всю ночь.

Я выступаю в 1907 году в Севастопольском цирке.

Мой первый дебют.

В первом ряду полупьяные моряки-офицеры.

Это было в то самое время, когда офицерство пользовалось привилегиями показывать свое мнимое превосходство над штатскими, когда за каждое противоречие в общественных местах этот „цвет русской интеллигенции“ позволял рассчитывать с „шпаной“—штатскими—саблей и револьвером... Это было тогда, когда им было все возможно...

Я обратился к публике со стихотворением—монологом:

„Пред вами только шут,  
Но времена бывают,  
Когда шуты, что забавляют,  
Полезнее толпе, чем те,  
Которые на высоте  
С толпою в пять свобод играют.  
Я шут иной. Насмешкою привык хлестать шутов, достойных плети,  
Не страшен мне ни жалкий временщик,  
Ни те шуты, что спят в Совете.  
Я правду говорить готов  
Про всевозможнейших скотов.“

Публика шумно аплодировала. И вот, когда аплодисменты утихли и я готовился показать моих животных, один из подгулявших моряков—офицеров стал свистать.

Ему стал вторить его сосед, мичман З.

Публика молчала... И я, при гробовом молчании, прочел „свистунам“ экспромтом вылившееся у меня стихотворение:

„Свистать вы можете всю ночь  
И очень свищете отлично,  
Свистать я с вами бы не прочь...  
Но знаю—это неприлично...“

Чем кончилась эта история?

Тем, чем кончились многие истории моих выступлений в цирке: мне было запрещено играть в Севастополе и не за первое стихотворение, как мне объяснила почтенная полиция, а за второе, „оскорбляющее честь русского офицерства“.

## Невыполненные программы.

В Одессе жил губернатор, с которым впоследствии революционеры покончили бомбами.

Я приехал со всем своим громадным багажем, со всем многочисленным зверинцем, и был поражен неприязненным нововведением: власти с меня потребовали представления перед спектаклем программы.

Я составил программу; в ней, между прочими, номерами была сценка с дрессированными животными, под названием: „Пожар в гостинице Старый Режим и Музей Редкостей“.

Конечно, действующими лицами должны были быть животные. Обоз везли собаки, пожарных изображали обезьяны, а опоздавшего на пожар брандмейстера в пожарной каске—поросенок.

Я представил предварительно программу и был за нее выслан из Одессы прежде, чем вышел на арену.

Люди большею частью не любят, когда их сранивают с животными, особенно с такими, как поросята...

Аналогичный случай повторился в Харькове при губернаторе Пашкове.

В то время премьер-министр Столыпин бесжалостно вешал революционеров.

В представленной мною программе я упомянул, что покажу Столыпинский галстух.

Но едва я отвез программу, поровнявшись на извозчике со своим подездом, меня остановил пристав и заявил:

— Вы должны моментально с первым отходящим поездом отправиться в Курск.

Так я и уехал, не смея даже зайти в гостиницу, где ждала меня семья и вещи.

## Без штанов.

(Санкюлот).

Во время моих дебютов в Вильне показывал я „Мир зверей“ (Дуровская железная дорога).

Я выезжаю на паровозе и обращаюсь к публике с шуточными словами:

— Две знаменитости:

Хилков \*), да я.

---

\*) М. И. ХИЛКОВ—бывший министр путей сообщения, о котором говорили, что он, изучая железнодорожное дело, выполнял должность машиниста.

Хилков вез паровоз

Всерьез,

А я шутя.

На арене цирка рзвертывалась сложная железно-дорожная сцена: обезьяна—стрелочник переводила стрелку, опускала семафор, выходил начальник станции—бульдог, обезьяна—сторож звонила в колокол при отправлении поезда; журавль—актер, не имея денег на проезд, возвращался на родину по шпалам, железно-дорожная прислуга—обезьяны хлопотали в поезде, пассажиры разных классов, строго разгруппированные, усаживались по вагонам, собаки были избранниками и занимали первый класс, поросята, курочки, петушки и утки—второй класс, и, наконец, морские свинки—рангом пониже—третий. Когда сажались утки, я рекомендовал их при громком смехе зрителей:

— Рекомендую: путешественницы всем известные.. газетные утки.

Перед отходом поезда я вынимал из товарного вагона разные вещи—багаж, предназначенный для разных слоев и разных профессий. Вынимал я горшок земли и говорил:

— Это—крестьянам.

Веревки:

— Это рабочим—веревочные нервы.

Гнилую шпалу:

— Инженерам.

Громадную дубину:

— Политический градусник.

За градусником еще следовало много других предметов багажа, намекающие на злободневные вопросы города. В этих намеках многие узнавали то, о чем говорили и не договаривали или о чем они совсем не говорили из страха,

Между прочим вынимаю я рваные штаны с вывороченными карманами и заплатами, показываю публике и говорю:

— А вот и Министерство Финансов.

Эта последняя шутка вызвала личное об'яснение с губернатором Веревкиным. О ней доложил Веревкину чиновник особых поручений, и я был вызван для об'яснения.

Пришлось прождать около двух часов между просителями.

Я не знал, зачем и для чего позван, но смутно чувствовал грозу и думал, что мне вновь придется, по обыкновению, складываться и уезжать.

Появился на пороге приемной Веревкин.

Дошла очередь и до меня.

Он грозно нахмурил брови и сказал:

— Как вы смеете показывать на сцене цирка рваные штаны, называя их Министерством Финансов.

И все больше и больше возвышая голос, он закричал:

—Чтобы этих штанов больше не было, а если вы себе еще позволите, то будете в двадцать четыре часа высланы из города.

Я сделал кислую физиономию и отвечал:

— Слушаюсь. В следующий раз с вашего разрешения я буду играть без штанов.

Веревкин закусил губу, сдерживая смех, повернулся и ушел.

## ЦАРЬ И ЕГО ПРИСНЫЕ.

### I.

#### Легендарный генерал Думбадзе.

Легендарный генерал Думбадзе умер; умер, забытый, ушедший в отставку. Лишь смерть напомнила о страшном генерале, который был грозой не только Ялты, но и всей великолепной Тавриды, и о котором сложилось столько легенд.

В далеком прошлом своим скромный армейский офицер Думбадзе, сделавшись ялтинским градоначальником, стал всероссийской знаменитостью, был одно время в большой силе и сам всемогучий премьер-министр Столыпин весьма и весьма считался с ним.

Так или иначе, бывали примеры, что Думбадзе отказывался исполнять столыпинские распоряжения, говоря:

— Он премьер там у себя, в Петербурге, а я премьер здесь у себя в Ялте.

В 1907 г., когда Думбадзе проехал по Ливадийскому шоссе, в него бросили бомбу.

Думбадзе легко контужен, преступник застрелился, дача Новикова горит, так сообщали телеграммы. Конечно, можно было думать, что дача горит от взрыва бомбы. А сжег ее сам Думбадзе. Он вызвал из Ливадии стрелков и приказал разгромить все имущество во всех квартирах не только дачи Новикова, из которой была брошена бомба, но и соседней.

Наученный опытом, Думбадзе об'явил приказом по Ялте, что „врагов порядка“ он будет нещадно наказывать, а дома их, на подобие дома Новикова, „уничтожать без остатка“,—дома Новикова, антрепренера, „опереточного папаши“, как все называли его, случайно сделавшегося директором Зоологического сада в Петербурге, так как театр оперетки находился в этом саду. Новиков, конечно, ни в чем не был повинен.

Мальчишек и шатающихся по улицам с красными тряпками на подобие флагов, драть за уши и под расписку передавать родителям, при повторении—брать под стражу.

В свое время этот случай нашел освещение в статье В. Г. Короленко.

„В Таврическом дворце—конституция, —писал известный писатель, в остальной России—генералы Думбадзе. После его ручательства ялтинцам можно быть уверенным твердо в одном, что уцелеет от бомбы террориста, то генерал Думбадзе разрушит уже без остатка.

Думбадзе не церемонился и с печатью. Сплошь да рядом читали мы в газетах о высылке из Ялты редакторов, сотруд-

ников журналов и газет, был выслан даже такой крупный писатель как Куприн, которого Думбадзе „попросил“ оставить „жемчужину Крыма“.

Одною из жертв легендарного генерала был писатель Первухин. Страдая чахоткой, Первухин жил в Крыму. Он редактировал „Ялтинский Листок“. Раз, не угодив чем-то Думбадзе, получил приказ немедленно уехать. Пришлось перекочевать в Италию.

Для столичной московской и петербургской печати Думбадзе был анекдотическим „дежурным блюдом“. Чуть ли не ежедневно мелькало его имя на страницах многих газет, и Шаляпин, смеясь, говорил, что завидует популярности ялтинского градоначальника.

Два раза в день Думбадзе обязательно об'езжал город и делал замечания полицейским.

Был случай, когда Думбадзе на проезде увидел дежурного околоточного в галошах.

—На дежурстве—в галошах!.. —раскричался он, остановив свой экипаж. —Долой галоши! . . В море! . .

Околоточный снял галоши и—дело происходило на набережной,—закинул их в море.

Впрочем, умея карать, Думбадзе умел также и миловать. Угодных ему он поощрял и повышал.

Страшному генералу обязан карьерой своей ялтинской исправник Гвоздевич, начавший при Думбадзе службу чуть ли не с урядника.

Он заслужил милость генерала большею частью тем, что доставлял живой товар Думбадзе и высокопоставленным особам, как, например, Эмиру Бухарскому.

Благоволил он также и к тем лицам, которые принадлежали к союзу русского народа. Так, например, директор цирка Безкоровайный пользовался благосклонным разрешением градоначальника на запрещенную лотерею-аллегри, потому что брат его был в Николаеве председателем союза русского народа.

С другой стороны, генерал придирился из-за каждого пустяка и особенно был нетерпим к евреям.

Один еврей—аптекарь в Ялте—поместил без всякого умысла на сигнатурке свои инициалы в том месте, где красовался двуглавый орел. Этого было достаточно, чтобы Думбадзе выслал его вместе с семьей и служащими из Ялты и разорил до тла.

Я придумал осрамить Думбадзе и очень оригинальным образом.

Собрав несколько знакомых единомышленников, я взобрался на почти отвесные скалы в окрестностях Ялты, рискуя сломать себе шею и написал там вольные надписи, высмеивающие Думбадзе, с нецензурным текстом.

В морской бинокль снизу можно было ясно разобрать, что написано.

Смельчаков, которые могли бы взобраться и уничтожить дерзкую „литературу“, не нашлось.

Тогда Думбадзе приказал расстрелять из орудий компрометирующий его выступ скалы, и таким образом надписи были уничтожены вместе с „крамольными“ скалами.

II.

**Мое первое столкновение с генералом.**

В то время, как я в Ялте орудовал цирк Безкоровайного, туда же приехал другой цирк, большой первоклассный, братьев Никитиных. Они пожелали, чтобы я у них дебютировал.

Получив телеграмму, я выехал в Ялту для предварительных переговоров с дирекцией.

Ознакомившись с положением жителей и с поведением Думбадзе, я дал принципиальное соглашение директору участвовать, но предварительно, до присылки животных в Ялту, считал своею обязанностью переговорить с Думбадзе, зная его сумасшедший нрав.

Я нанял извозчика в Ливадию, где он жил.

Не могу не упомянуть о случайной остроте извозчика. Проезжая мимо одной из треснувших дач, я спросил возницу:

— А что, не работа ли это Думбадзе, на подобие дачи Новикова?

Извозчик добродушно отвечал:

— Нет, это—дача, добровольно треснувшая...

Оказалось, что в данном случае трещина в каменной стене дачи произошла от сдвига почвы близ моря.

Первое знакомство с Думбадзе, начавшееся очень мирно, кончилось бурей.

— Садитесь, вы—наш интеллигент,—сказал Думбадзе. — Очень приятно с вами познакомиться.

Но когда я стал описывать ему желание привести в Ялту большое количество животных, (8 вагонов) и для этого должен сговориться с градоначальником,—разрешена ли мне будет сатира,—он нахмурился.

— Запретить сатирику смеяться,—сказал я,—это все равно, что отнять у музыканта скрипку.

— А у кого вы будете играть?—быстро спросил Думбадзе.

И когда он узнал, что у Никитиных, то сразу переменил тон.

— Если вы позволите себе сказать чтонибудь лишнее,—резко крикнул градоначальник,—я всех ваших свиней выброшу в море.

Я вспомнил о галошах околоточного, вспылил, вскочил со стула и сказал:

— Мои свиньи учат людей, как вести себя прилично, как не орать. Я вам не мальчишка.

Повернулся и ушел.

Вот первое мое знакомство с генералом.

III.

**Шутка.**

Приехав к Никитину в цирк, я рассказал ему о случившемся и уже собирался уехать во свояси, когда Гвоздевич привез от Думбадзе афишу, в которой было ясно сказано:

„Первый дебют знаменитого сатирика-шута со своими дрессированными животными“.

Ничего не поделаешь,—я должен был согласиться и подписать контракт.

Здесь начинается история...

Животные приехали, и я решил употребить все силы, чтобы быть сдержаннее и окупить хотя бы взад и вперед дорогу.

Цирк ломился от публики...

Между прочими номерами мой сан-бернар Лорд ловил себя за хвост. При этом я всегда говорил:

— Лорд, поймай себя за хвост, но не оторви, а то будешь собака куца, как наша конституция.

На этот раз, по-моему, такая невинная шутка, обратила на себя внимание властей.

Чиновник особых поручений передал Думбадзе мои слова. Думбадзе на следующий день приказал Гвоздевичу составить протокол, „обязав Дурова ни о хвосте, ни о конституции не говорить ни слова“.

Протокол составили тут-же при публике и от меня была отобрана подписка.

Понятно, это заинтересовало публику, которая переговаривалась и ожидала от меня сегодня же ответа с арены и ожидала не напрасно.

Когда дело дошло до хвоста Лорда, я громко сказал:

— Думбадзе про хвост (прохвост) запретил говорить.

Гром аплодисментов и приказ всесильного генерала о моем выезде с первым отходящим пароходом.

Пароход в этот день опоздал, и я предполагал уехать позднее, но не тут-то было: пристава наняли карету и предложили мне сесть и отправиться на лошадях через Байдарские ворота.

Публика собралась у входа в гостиницу и, пока мы усаживались,—я, жена и собака,—читала посвященные мне стихи, бросала мне цветы и, несмотря на протест полиции, устроила мне шумные овации, далеко провожая меня по набережной...

#### IV.

### Что значит царская милость.

Вторая встреча с Думбадзе произошла совсем при других обстоятельствах.

Николай II жил в Ливадии.

В Севастополе, на берегу у пристани, стояли мои звери. Пароход оказался переполненным и капитан отказывался принять мой живой груз.

Последнее свободное место на верхней палубе было занято перед самым почти отходом автомобилем эмира Бухарского. Случайно на пароходе оказался генерал Княжевич, который содействовал отправке моих зверей следующим рейсом в Ялту, меня же с моею женой устроил в своей каюте.

Дорогой, разговорившись со мною и видя мои опыты внушения собаке, Княжевич очень заинтересовался и намекнул мне, что может быть доложит об этих опытах царю.

Я не придал этому никакого значения и, когда приехал в Ялту и остановился в гостинице, то не решался еще открывать свой багаж и прописаться, боясь гласности. В конце концов решено было скрываться. Предварительно инкогнито, забыта ли история моей высылки Думбадзе.

Но вдруг внизу, в гостинице, на вторые сутки я столкнулся со знакомым околоточным надзирателем, который, увидев меня, крикнул с нескрываемой радостью.

— А вас разыскивает по всей Ялте Гвоздевич. И тут же телеграфировал Гвоздевичу. Скрываться дальше не было смысла.

Я с трепетом ждал решения своей участи. Через четверть часа к гостинице под'ехал на своей паре Гвоздевич и, увидев у под'езда меня, крикнул на всю улицу:

— Садитесь на первого попавшегося извозчика и немедленно отправляйтесь в Ливадию, в канцелярию князя Орлова. Я не буду следовать за вами.

Я сел на извозчика, понутив голову, извозчик подвез меня к главным ливадийским воротам. Экипаж с Гвоздевичем остался сзади. Дворцовый пристав, с увешанной регалиями грудью, спросил мою фамилию и, к моему удивлению, отдав мне честь, открыл передо мной ворота.

Гвоздевич, повернувшись, уехал.

Я ехал среди богатых виноградников, не понимая в чем дело.

На дороге—будка с телефоном и другой полицейский чин, переспросив мою фамилию, вытянулся передо мною в струнку, отдал честь, как и первый пристав, почтительно указал извозчику дорогу, как проехать к князю.

Тут я понял, что дело идет не о высылке моей, что мои фонды, наоборот, поднимаются.

Я важно расселся в экипаже, сдвинул на затылок свой цилиндр и, заложив нога на ногу, закурил папиросу.

Я в канцелярии. Солдат-писарь сказал мне, что князь с нетерпением меня ждет. Видимо, по телефону ему было дано обо мне знать.

Князь В. Н. Орлов, начальник дворцовой походной канцелярии, друг Николая II, говорящий ему „ты“ и служивший у него шоффером, поздравил меня „с великой честью“ быть представленным царю, упомянув при этом, что знает меня давно, с детства и что царь много слышал обо мне от своего брата Михаила Александровича, который бывал несколько раз в моем „Уголке“.

— Между прочим генерал Княжевич сказал государю, что вы находитесь в Ялте и тогда было приказано Гвоздевичу разыскать вас. Гвоздевич доложил мне, что вас в Ялте нет, тогда я поставил ему на вид, как это государь знает, что Дуров в Ялте,—а вы не знаете.

Мне моментально был предоставлен чудный автомобиль, на котором я с князем отправился осматривать Ливадийский театр для решения о месте представления.

Я нашел, по осмотре, что он слишком тесен для моего репертуара и мы отправились на место футбольной площадки с буфетным домиком, где, по моему предположению нужно было построить временный цирк под парусиновой кровлей.

Николаю II хотелось видеть меня скорее, а нужного количества полотна в Ялте в тот момент не оказалось, и вот я, для ускорения дела, предложил князю Орлову устроить меня во временном, построенном в Ялте, цирке Вьяльшина.

Чтобы показать лучшие номера моего репертуара, я должен дать четыре представления,—говорил я.

Князь Орлов скоро принес мне ответ Николая II.

„Четыре—так четыре, в цирке—так в цирке“.

И вот закипела работа.

Вся ялтинская полиция была на ногах. Она разузнавала подноготную моих служащих, послала телеграммы на места их родины, обложила кругом цирка все дома особым надзором, а начальник дворцовой полиции Александров сам лазил в цирке под галеркой, осматривая каждый кирпич.

Понавезли ковров, цветов и моя свинья в первый раз в жизни стояла между пальмами.

Из балагана цирк превратился в бомбоньерку.

Раз как-то, когда в цирке кипела работа, стучали молотки, устанавливалось электрическое освещение и прибывались украшения, мне дали знать, что к цирку под'езжают автомобили.

Первым ехал князь Орлов, вслед за ним автомобиль Думбадзе, а сзади мчалась прекрасная пара Гвоздевича. Я приготовился к неприятной встрече с моим старым врагом Думбадзе.

Распахнув портьеры, первым вошел князь Орлов, за ним в почтительном отдалении следовал Думбадзе, шествие замыкала вытянутая на ципочках фигура Гвоздевича.

—А где же наш общий друг Владимир Леонидович?—спросил князь Орлов, видимо, нарочно подчеркивая свои слова, чтобы показать Думбадзе тон, которого следует со мной держаться.

Я подошел поздороваться к князю и невольно должен был остановиться и перед Думбадзе, который сказал князю.

— Мы уже знакомы.

Орлов обратился ко мне:

— Ну, вы, наш шутник, скажите что-нибудь и про меня.

— Помилуйте, отвечал я, про таких царских птиц орлов, я не нахожу дурных слов.

— Нет, нет, пожалуйста, ведь каждый имеет свои недостатки.

И глаза Орлова смеялись косясь на Думбадзе. Я понял, что должен что-то сказать.

— Ваш единственный недостаток,—сказал я, указывая на живот князя, это—очень большая походная дворцовая канцелярия.

Он жирно засмеялся и, обняв меня одной рукой, пошел осматривать цирк. Думбадзе следовал за нами.

V.

Под гипнозом.

После четырех представлений, на которых присутствовали: царь, наследник, великие князья, все члены царской семьи, кроме императрицы, Дедюлин передал мне следующее:

—Государь поручил нам узнать, многоуважаемый Владимир Леонидович, что бы вы пожелали.

Это происходило в гостях у Дедюлина за чаем.

—Я получил за все представления деньги сполна и полагающийся в таких случаях подарок—бриллиантовый перстень, от которого по закону не имею права отказываться, а потому считаю свой труд оплаченным и категорически отказываюсь чего-либо желать.

Это удивило придворных. И с тех пор меня в насмешку свитские стали называть „кредитором царя“.

Один раз при встрече Дедюлин сказал мне:

— Господин „кредитор царя“, его императорское высочество остался очень доволен вашими представлениями. Могу вас поздравить с успехом. Ваша дрессировка животных внушениями заинтересовали его императорское величество, наследник и великие княжны чрезвычайно довольны.

— Простите за нескромный вопрос,—сказал я,—на всех моих представлениях был государь и наследник и все великие княжны и князья, а государыню мы все время не видели. Это было заметно так резко, что не одного меня и много других окружающих заинтересовало. Толкам и догадкам не было конца.

— Вот вы наш кудесник и гипнотизер,—шутя отвечал генерал,—а не знаете причину, а причина-то кроется вот в чем: есть гипнотизер посильнее вас, и ваши внушения ему не нравятся, а потому и нет того, о ком вы спрашиваете. Ну, об этом довольно, как бы спохватившись, оборвал Дедюлин и круто повернул разговор на другую тему.

Из этого короткого разговора я многое понял и когда я потом говорил с князем Орловым, с полковником Герарди, начальником дворцовой полиции, и со многими другими лицами, касающимися дворца, я от всех слышал недоговоренные фразы, с загадочными улыбками по адресу царицы.

Я разговорился с князем Трубецким о недавнем столкновении автомобилей, в одном из которых находился наследник, отделавшийся испугом.

Я спросил, почему наследник ездит постоянно один и никто не видит с ним матери, а между тем везде только и говорят, что царица никогда не расстается с больным сыном.

Князь загадочно грустно улыбнулся и перевел разговор на другое.

Придворные в беседах со мной очень интересовались моими приемами внушения животных, спрашивали, не могу ли я также гипнотизировать людей и очень прозрачно подчеркивали, что при дворе есть таковые.

Княжевич спрашивал меня, не могу ли я загипнотизировать уже загипнотизированного другим, т.-е., не могу ли я внушить суб'екту, чтобы он забыл внушенное ему раньше.

Матросы из царской яхты „Штандарт“ рассказывали мне, что Александра Федоровна скучает, никуда не ходит и притворяется больной, при дворе ее никто не любит. Очевидно, она тосковала по Распутину.

Сила гипноза делала свое дело: больная, безвольная истеричка страдала,—мысли ее были около него, всемогущего, всесильного настоящего императора—самодержца России—Григория Распутина.

А в это время супруг, такой же слабосильный и безвольный, Николай Романов, тоже тосковал и развлекался на „Штандарте“ в оргиях.

В конце концов мне пришлось использовать свое право „кредитора“.

Евреи, не имея права жить вне черты оседлости, волею-неволею, принуждены были запасаться свидетельствами на зубных врачей, и вот сорок человек были привлечены к суду за прикрытие этими свидетельствами, в то время, как на самом деле они не занимались практикой. Им грозили всякие репрессии...

Один из моих знакомых, зная, что я „кредитор царя“, просил меня воспользоваться этим „правом“ и заступиться за дантистов.

В первый раз я рискнул обратиться к князю Орлову с просьбой о заступничестве.

Не знаю, совпадение ли это, но врачи были освобождены.

Один из свитских меня предупредил, что отношение ко мне царя и окружающих его переменилось, причиною чего была статья Бурцева.

Бурцев, в своей газете „Будущее“, кажется, в 1913 году, по ошибке назвал меня именем моего покойного брата и написал следующее:

„Известный А. Дуров, на каком-то публичном или частном представлении, перекидывая из руки в руку серебряный рубль, комкая и тиская его между ладоням, на вопрос помощника: „что это вы делаете“, отвечал: „пока ничего, так себе дурака валяю“... Если вспомните, что на рубле красуется лик царскосельского арестанта Николая II, то нельзя не признать, что ответ этот довольно забавен и зол, не говоря уже о его полной исторической справедливости“.

Эта статья, писанная Бурцевым, была помещена в его обвинительном акте, в приговоре петербургской судебной палаты.

Дело Бурцева в 1915 году напомнило власть имущим и о моей шутке и в первый раз дошли до Николая II после моих выступлений в Ялте, что и послужило, как предполагают, к перемене отношений ко мне двора.

На самом деле история была такова:

В Петербурге, в Михайловском манеже, во время своего выхода я смешил публику, в то время состоящую большею частью

из молодежи, чередуя дрессированных животных со стихотворениями, рисованием, фокусами.

Преобладающим элементом были студенты.

Показывая фокусы, я, между прочим, попробовал показать фокус, хотя, признаться, думал, что мой намек большинство не поймет, и он проскочит незамеченным.

Я представился обладателем феноменальной силы пальцев и сказал:

— Я могу гнуть подковы и ломать рубли.

При этом я вынул серебряный рубль и предложил сидящим в первом ряду освидетельствовать его, что он не оловянный, а настоящий, серебряный и неподпиленный.

Один из публики недоверчиво начал ломать его, пытая и краснея.

Я, после длительной паузы, сказал:

— Полно вам дурака ломать, не задерживайте публику.

К моему удивлению, после этой фразы раздался гром аплодисментов.

Кончив свой номер, я ушел в уборную раздеваться и здесь встретил поджидавшего меня жандармского полковника.

Он покраснел, как рак, и грозно приступил ко мне: —

— Что вы позволили себе сказать?

Я отвечал с самым невинным видом:

— В чем дело, полковник? Садитесь... Что я сказал? Я ничего не понимаю...

— Что вы сказали, когда показывали фокус с рублем?

— Полковник, я говорил то, что говорил всегда. В чем дело, объясните мне.

Полковник багровел все больше и больше.

— Полно вам дурака-то ломать! Потрудитесь не притворяться! Что вы сказали студенту, который попробовал сломать рубль?

— Я вас не понимаю, полковник...

— На кого вы намекнули, когда сказали: „довольно дурака ломать“.

— Я намекнул?—подняв брови и сделав удивленную физиономию, притворялся я.—Ага, так вот на что вы намекаете? И вы, вы, жандармский полковник, допускаете такую мысль! Я буду жаловаться на вас...

И тогда я уже смело подступил к полковнику, а сзади, в дверях уборной, собралась толпа и провожала полковника насмешками.

## Великий князь Константин Константинович.

В 1908 году доктора послали меня лечиться за границу, в Вильдунген.

Чтобы не сидеть на курорте без дела, я приобрел себе по дороге в Гамбурге у известного торговца животными Гагенбека пару морских львов и намерен был заняться их дрессировкой.

В Вильдунгене я снял виллу с небольшим сарайчиком при ней, в котором и поместил моих львов, и сейчас же приступил к их усиленной дрессировке.

В то же время в Вильдунгене находился великий князь Константин Константинович со своими сыновьями.

В одном из концертов я был представлен великому князю.

Он ничего лучше не нашел спросить у меня с первых же слов:

— Это вы тот самый Дуров, который ходил вверх ногами на уроках закона божьего у батюшки Мещерского?

Факт этот действительно был в то время, как я учился мальчиком в I Московской военной гимназии.

Я смущенно отвечал:

— Да, это я.

И я тут же выразил удивление, как великому князю могла быть известна моя детская шалость.

Константин Константинович гордо и важно отвечал:

— Мне, как начальнику военных училищ, должно быть известно все, что происходит в их стенах, — кстати скажите, вам вероятно, досталось за это от г. Попелло-Давыдова (инспектора гимназии в то время).

— Как же, меня выгнали из гимназии.

— И все?

Константину Константиновичу казалось, что это самое важное, что он мог у меня спросить. . .

А потом, посетив меня, ему показалось самым важным дать мне задание для дрессировки морских львов: выучить льва в его присутствии отдавать честь.

Лев по моему приказу приложил лапу к голове и великий князь был очень доволен.

Так „на военный образец“ была налажена вся душа этого человека.

---

## О губернаторе Сосновском и самоедах (1910 г.).

Эксплоатация наших северных инородцев велась испокон веков, эксплуатация самая беззастенчивая.

Взамен богатств края — пушнины и живности — им доставляли „огненную воду“ — водку, спаивали и уничтожали целые „роды“ а наши богатства увозили за границу, откуда к нам они возвращались обратно в обработанном виде.

Тогда защиту наших инородцев правительство решило взять на себя и сосредоточило в своих руках всю торговлю пушниной и живностью на далеком севере.

Два раза в год, когда море бывает свободно ото льда, отправлялся на Новую Землю корабль под личным контролем Архангельского губернатора Сосновского. На нем доставляли самоедам оружие, порох, муку, хлеб и другую провизию, а оттуда взамен привозили собранную за полгода пушнину, живых белых медведей и других зверей.

По закону, весь привезенный от самоедов товар должен был продаваться с аукциона, а вырученные деньги идти на покупку всего необходимого для самоедов.

На деле же прежняя кабала, в которой находились самоеды до правительственной опеки, ничуть не изменилась. Вся разница только в том, что раньше самоедам приходилось лично сталкиваться со скупщиками и их агентами, а теперь дело приходилось иметь с теми же лицами, но только через посредство правительственных чиновников, а это посредничество обходилось несчастным инородцам до того дорого, что они охотно вернулись бы к старым порядкам.

Случай, о котором я хочу здесь рассказать, является яркой характеристикой беззастенчивого хозяйничанья иностранных предпринимателей на дальнем севере, благодаря которому самоеды на Новой Земле, несмотря на огромные богатства края, заключающиеся в несметном количестве всякого пушного зверя, вымирали из-за систематического голодания.

Цынга, этот бич севера, ежегодно уносила сотни тысяч жертв алчности чиновников, находящихся на службе у богатых скупщиков пушнины.

Ни одна культурная страна в мире не бедна так зоологическими садами и музеями, этими колоссальными рассадниками знаний, как Россия, которая была почти главным поставщиком на европейских рынках живых зверей и пушнины.

Я задался целью открыть такой культурно-просветительный уголок в Москве, в котором я мог бы собрать возможно большее количество нашей фауны, в особенности северной.

Моей заветной мечтой было дать широкому населению Москвы возможность восполнить в моем „Уголке“ пробелы в познаниях зоологии и зоопсихологии.

Я пользовался всяким случаем для увеличения своей коллекции зверей. Так было и летом 1910 г.

От директора цирка в Архангельске г. Изако я получил предложение приехать на ряд гастролей. Дорога была дальняя, расходы большие, и сборы в цирке не могли бы окупить моих затрат на поездку туда и обратно с моими зверями и реквизитом, которых набирается до 8 вагонов. Архангельск—город крайний, и артисту приходится из этого города возвращаться обратно в центральную Россию, а это значительно удорожает стоимость гастрольных поездок в Архангельск.

Но я подумал о том, что могу в Архангельске приобрести из первых рук северных животных и стал вести переговоры с Изако.

Я спросил его, могу ли я купить животных из первых рук, а он взялся переговорить об этом с архангельским губернатором Сосновским. Ответ Изако был благоприятный: архангельский губернатор отнесся с большим сочувствием к моей затее и обещал свое содействие для приобретения в Архангельске лучших экземпляров животных.

В Архангельске я сейчас же по приезде испытал первое разочарование: в городе губернатора не было— он уехал во главе экспедиции на Новую Землю.

Я поехал к губернаторше и был принят ею очень любезно. Когда я заговорил о главной цели моего приезда в Архангельск, она заявила мне, что знает это от своего супруга, который обещал предоставить мне возможность, после возвращения экспедиции с Новой Земли, первому выбрать себе лучшие экземпляры животных. Взамен этого госпожа Сосновская предложила мне принять участие в благотворительном вечере, который она устраивала вместе с другими дамами-патронессами в один из ближайших дней.

Хотя такое участие в благотворительном вечере и являлось конкуренцией самому себе\*), но я ответил согласием и ушел успокоенный из губернаторского дома.

Прошло несколько дней. Мои гастроли проходили с большим успехом. Цирк был полон.

Как-то случайно я познакомился с одним господином, который оказался агентом Гагенбека, владельца богатейшего в мире зоологического сада в Гамбурге.

— За зверьями приехали? — спросил он меня с иронической улыбкой.

На утвердительный ответ он сделал еще более насмешливую гримасу. Я не придавал этому никакого значения.

Через несколько дней, рано утром, меня разбудил местный пристав и об'явил о приезде губернатора.

— Его превосходительство вас ждут на пристани, — сказал он мне.

Я наскоро оделся и поехал на пристань, но губернатора там уже не застал.

Зато я наткнулся на сцену, которая навела меня на весьма грустные размышления: правитель канцелярии архангельского губернатора, заведующий продовольствием новоземельных колонистов-самоедов, некий Садовский, в притворно резких выражениях и нарочно громко распекал какого-то подрядчика за недоброкачественные сушки и масло, доставленные самоедам на Новую Землю и привезенные теперь обратно в Архангельск.

Когда комедия разноса подрядчика кончилась, по трапу с корабля сошла, одетая в национальный костюм, самоедка с большой связкой чудеснейших голубых песцов в руках и подошла к стоявшей на пристани жене Садовского. Та стояла сконфуженная, не зная, что ей делать. Муж поспешил притти к ней на помощь.

— Прими это душечка, — громко сказал он, — Самоеды хотят оказать тебе почтение и приносят этот маленький подарок.

Подношение было принято, и я с грустью подумал о том, сколько самоедских семей можно было бы спасти от голода и цынги на деньги, составляющие стоимость этого „маленького“ подарка. Ведь каждая шкурка голубого песца оценивается в несколько сот рублей!

Видя, что всем распоряжается Садовский, я подошел к нему и отрекомендовался.

\*) Деньги с этих „благотворительных вечеров“ обыкновенно уходили на устройство увеселений, угощений, раз'ездных и редко попадали по назначению.

— Губернатор, не дождавшись вас, уехал и поручил мне говорить с вами, — сказал Садовский.

Я рассказал о цели моего приезда в Архангельск, приблизительно вот что:

В настоящее время в Германии 32 зоологических сада; во Франции—28 и т. д., а у нас, в России, их, к сожалению, только два. И что прискорбнее всего, это — отсутствие у нас таких культурно-просветительных учреждений, несмотря на колоссальное разнообразие и богатство нашей фауны. Я задался целью устроить в Москве такой зоологический сад и зверинец, по возможности, всех представителей животного царства России, и полагаю, что эта идея должна встретить поддержку со стороны общественных деятелей. Я надеюсь, что в этот раз, благодаря содействию Архангельского губернатора, мне не придется переплачивать фирме Гагенбек в Гамбурге громадные деньги за зверей, которые он приобретает за бесценок у нас же в России. Например, за молодых медвежат Гагенбек берет по 600 руб. и на покупателя ложится еще весь риск, с каким сопряжена перевозка этих зверей из Гамбурга в Россию.

Вот что я хотел сказать, приблизительно, Садовскому, но он после первых же моих слов резко меня оборвал:

— Какое мне дело до ваших идей? Я для вас ничего сделать не могу. Привезенные сюда и находящиеся на корабле медведи уже проданы этому господину. И он указал мне на агента Гагенбека.

Агент стоял в небрежной позе и своей язвительной улыбкой как бы говорил мне:

— Что, много взял со своим губернатором!..

Мое лицо выдало меня, на нем отразились досада и разочарование. Садовский это заметил и поспешил смягчить впечатление от своих слов.

— Там на корабле, у матросов, есть еще четыре медвеженка посмотрите их, — сказал он.

Я вошел на корабль. На палубе в судорогах валялись три медвеженка. От матросов я узнал, что в дороге, за отсутствием другого корма, этим несчастным животным бросали из жалости уток, которых медведи пожирали вместе с перьями. Такой корм, конечно, и вызвал смертельные судороги. Лучшие же экземпляры медвежат были уже собственностью Гагенбека и этих гагенбекских медвежат кормили как следует. Медвежата были проданы Гагенбеку еще до отправления экспедиции на Новую Землю, как многие раззорившиеся помещики продают хлеб на корню.

Меня ошеломило такое отношение со стороны представителя администрации, и я указал на это Садовскому. Я старался его убедить в том, что от подобного отношения страдают не только мои личные интересы, но и великое общественное дело народного просвещения в России.

Садовский оказался неуязвимым. Он сухо и резко ответил, что подобные соображения его не касаются, и предложил мне обратиться к агенту Гагенбека, если действительно я хочу купить животных Северного Края.

Сила соломѹ ломит. Пришлось подчиниться неизбежному: приобрести зверей у гагенбековского агента и переплатить ему громадный куртаж.

Раздосадованный неудачей с приобретением зверей, я отказался от участия в благотворительном вечере. Губернаторша обиделась на меня за это и решила мне отомстить. Она предложила дамам архангельского „бомонда“ бойкотировать мой бенефис, который должен был вскоре состояться.

План мести губернаторши оказался неудачным.

В мой бенефис на цирке был вывешен аншлаг „все билеты проданы“.

Цирк был битком набит, ложи и первые ряды переполнила та публика, которую губернаторша подбивала меня бойкотировать. Об этом постаралась семья вновь назначенного в Архангельск бригадного командира К., моего дальнего родственника, и вице-губернатора Шидловского, который публично преподал мне золотой жетон.

Город разделялся на две партии: одна—вицегубернаторская, другая—губернаторская, обе враждовали между собою, благодаря чему вицегубернаторская партия явилась ко мне на бенефис в пику губернаторше.

Видя перемену губернаторши, переменился ко мне и местный полицеймейстер, молодой, малоопытный в полицейском деле франтоватый офицер, затянутый в корсет.

Угодливый, любезный до приторности, после отказа моего от участия в благотворительном вечере, он стал теперь заносчиво-грубым и придиричивым. Чтобы показать свою власть, он вызвал официально меня и директора цирка Изако к себе в полицейское управление. Когда мы явились, он, избѣгая встречается со мною взглядом, обратился к Изако с требованием снести якобы незаконно возведенную пристройку при цирке, в которой находились мои животные.

Он не обращал внимания на уверения Изако в том, что пристройка это стоит давно и существование ее известно хорошо городской управе. Меня же этот умный администратор как будто бы не замечал.

Придирки полицеймейстера, происки губернаторши и другие мелкие неприятности ухудшили еще более и без того неприятное состояние моего духа и сделали пребывание в Архангельске не выносимым. Горечь обиды за неудачу покупки зверей отточили мое любимое оружие—сатиру.

Во время спектакля я стал раздавать обычные „подарки“ купцам, интендантам, чиновникам и т. д. и преподнес некоему „правителю поднебесной канцелярии Садомо-Гоморскому—ободранное самоедское мясо.

Вместо шоколада угостил моего шпица „новоземельской сушкой“. Шпиц обиженно отвернул свою морду.

— Он гнилой сушки не кушает,—засмеялся я, а за мною и вся публика.

Раздался гром аплодисментов. В Садомо-Гоморском все узнали правителя губернаторской канцелярии Садовского, кото-

рый заведует продовольствием новоземельских колонистов — самоед.

Всем была известна история гнилых сушек, отправленных архангельским правительством самоедам.

Желая угостить почетного гостя—губернатора И. В. Сосновского, приехавшего на остров, самоеды преподнесли ему к чаю архангельские сушки. Как ни хотел губернатор быть любезным с радушными хозяевами, кушать гнилую сушку он не мог, и ее привезли обратно в Архангельск,

Об этой-то сушке я и напомнил публике и властям...

В тот же день, по окончании представления, мне пришлось вести довольно крупный разговор с полицеймейстером по поводу „оскорбления властей“.

— Вы слишком много позволяете себе говорить,—сказал полицеймейстер в присутствии многочисленной публики.

— Что же, прикажете мне повесить замок на рот?

— Да, это было бы лучше.

На следующий день я исполнил приказание властей предержавшихся.

Я явился на арене с громадным замком, привешенным к губам и объяснялся с публикой жестами.

Публика нетерпеливо кричала:

— Долой замок! Дуров, долой замок!

Но я выдержал характер и до конца представления не снимал замка.

Тогда полицеймейстер поехал жаловаться на меня прокурору, прося привлечь меня к уголовной ответственности.

Прокурор ответил, что по российским законам молчание не наказуемо...

Полицеймейстер настаивал. Он указал прокурору на то, что я учу своих животных непристойностям. Для примера он привел мой выход со слоном, когда слон вытаскивает из под кровати вазу и садится на нее.

Прокурор еле сдерживал смех.

— В таком случае,—сказал он,—следует привлечь к ответственности слона.

Полицеймейстер выбежал дрожа от бешенства...

Этим еще не окончились мои архангельские мытарства.

Когда я уезжал из города, мне пришлось еще раз натолкнуться на бестактность полицеймейстера.

Железнодорожная станция находится на другой стороне реки и доставка багажа и груза от речной пристани до станции производится при артели грузчиков.

Вначале грузчики работали охотно, но едва появился архангельский полицеймейстер, поговорил с подрядчиком грузчиков и... картина моментально переменилась.

Грузчики стали работать крайне вяло и потребовали с меня невероятную по размеру плату за свою работу. Несмотря ни на увещание, ни на обещания наградить их, грузчики в этот день не закончили погрузки моего багажа и животных в вагоны и

моим служащим и зверям пришлось провалиться под открытым небом всю долгую холодную августовскую северную ночь, и эта ночь была роковой для моей дрессированной фараоновской крысы и тюленя.

## Мразовский и мое изобретение.

Империалистическая война, эта всемирная бойня, не прошла и мимо меня, перевернула уклад моей жизни, она потрясла давно установившиеся понятия и заставила принять почти активное участие в ней меня, который всю свою жизнь пропагандировал общечеловеческую взаимную любовь, меня, всегда приводившего в пример своих зверьков, живущих дружно вместе: волка с козлом, кошку—с крысой, лисицу с петухом и орлом и т. д.

Я только-что вернулся из плена в Германии, где застала меня война и первое время бросался в больницы, лазареты, казармы с пропагандой всеобщей любви. Развлекая и забавляя, я говорил людям о бессмысленности самоистребления.

Я встречал таких воинов, которые в третий раз попадали с фронта в лазарет и готовились идти в четвертый. Доктора чинили людей, как кукольные мастера кукол, и все для того, чтобы от-дать их в лом. А пресса каждый день разжигала ненависть к пруссакам и преподносила новые ужасы. Злодеяниям с обоих концов не предвиделось конца...

— Конец самоуничтожению необходим, — думал я, когда же он придет?

И все думали со мною:

— Когда же конец?

— Скорый конец, — думал я, может придти только тогда, когда человеческий гений изобретет массовой дьявольский способ истребления.

Если бы неожиданно появился такой изобретатель, который бы сказал: „прекратить войну, или я истреблю всю страну!“ — понятно, война должна была бы тотчас же кончиться.

Мысль моя шла дальше: каждый гражданин обязан в этот трагический момент все свои способности применить на изыскание средств к прекращению бойни. Вот я — артист; одна часть моего искусства — дрессировка животных, — почему бы мне не использовать на такое дело мою специальность.

И я решил, что должен применить особо дрессированных животных к войне. Я начал действовать и изобрел способ посредством ластиногих срезывать мины, взрывать подводные лодки и т. д. Начало этой дрессировки я опишу ниже.

Германия сильна своим подводным флотом. Германское правительство награждает и поощряет за каждое потопленное судно, будь оно даже плавучим лазаретом.

Какое животное могло бы идти на борьбу с подобными разбойниками? Понятно — водный хищник ластиногий.

Морские львы прекрасно плавают и прекрасно видят даже в мутной воде. В море они — цари. Посредством повадки — приманки можно очень скоро заставить животное производить много различных нужных движений.

Морские львы по складу ума ближе всего подходят к человеку и имеют одну общую особенность и способность — внимательно следит за малейшим движением и мимикой сообщавшегося с ним человека и понимать его желание и даже душевные переживания.

Благодаря этой способности и особенности, морского льва легче и скорее выдрессировать, чем какое-либо другое животное.

Если бы великий Эдиссон знал о моем способе дрессировки, то давно бы уже применил к механизму еще и живую силу или, наоборот, к живой силе свои вспомогательные механизмы.

Разве нельзя допустить такое предположение?

Я сидел у себя в “Уголке” и думал. Как добиться главного — победить пространство, т.е. как достигнуть того, чтобы морская бездна не могла служить ластиногим защитой также, как птицам служит воздушное пространство?

Выпусти птицу, — она улетит, выпусти ластиногую, — оно, как и рыба, скроется в водяной громаде.

Как же победить пространство?

С этой мыслью я принимаюсь быстро за дело.

Вот я отрезаю несколько аршин от пожарного рукава, сшиваю крепкую гурту и надеваю ее на моего морского льва Лео. Большое железное кольцо на спине и застежки с помощью стальных карабинов довершают незатейливую сбрую.

Лео с гуртой беспокойно бросается в воду. Он трется об стенки аквариума, быстро плавая и ныряя в бассейне; он, видимо старается сбросить непревычное одеяние, но тщетно: вымокший рукав еще плотнее облекает его гибкое, скользкое тело.

Мало-по-малу Лео свыкается с гуртою. Я его оставляю в ней ночевать. На другой день он как бы не чувствует сбруи. Теперь дальше гораздо сложнее, я надеваю на голову Лео протез и прикрепляю его к гурте.

Лео сначала чувствует себя не важно и машет головой, стараясь сбросить незнакомое, мешающее ему постороннее тело. Но постепенно, мало-по-малу, он свыкается, видя бесполезность сопротивления. Брошенная мною рыбка подхватывается на лету.

Лео уже забыл о протезе. Сетка позволяет льву взять в зубы рыбу, но проглотить ее не может. Тут начинается борьба с непредвиденным неудобством. Лео болтает рыбу во все стороны, подкидывает ее в воздух и вновь ловит, но проглотить не может. Сетка делает свое дело. Лев растрепал на мелкие кусочки рыбу, но в рот ничего не получает. Лео перестал пробовать проглотить ее и держал в недоумении во рту.

Но вот мое слово, ему знакомое „аппорт“, и он подносит ко мне рыбу.

Быстро беру у него изо рта рыбу, еще быстрее открываю протез с сеткой, кладу прямо в пасть Лео рыбу и тотчас же за-

крываю протез. Лео доволен, — в высшей степени доволен и я. Следующую брошенную рыбу он моментально преподносит мне и ждет, когда я открою протез и дам ему проглотить.

Так побеждено мною пространство. Оно для нас с Лео не существует. Лео без меня питаться не может.

Это была первая моя победа в области применения дрессированных животных на пользу человеку. Это был первый шаг к изобретению.

Отдав все свое время секретной дрессировке, я никого не выпускал в мою лабораторию, кроме служащих.

В один вечер приехала к нам в гости жена покойного председателя Государственной Думы М. Н. Муромцева. Она сумела проникнуть в святое-святых, в мою лабораторию, увидела мои работы и сейчас же принялась хлопотать, чтобы провести мое изобретение в жизнь.

На следующий день она привезла ко мне командующего войсками Московского Округа генерала Мразовского.

Суровый генерал сначала недоверчиво отнесся к моим изобретениям, но чем больше он наблюдал и вникал, тем сильнее разгорался в нем интерес, и он провел в моей лаборатории около пяти часов, а, уезжая захватил с собою написанный мною на машинке мой труд с рисунками и чертежами.

Через несколько дней командующий приехал снова ко мне и привез с собою артиллерийского полковника.

Через две недели я узнал, что Мразовский послал мой труд и письмо в Петроград к военному министру Беляеву и ответа еще не получил.

Я вооружился терпением.

Проходит еще две недели.

Командующий посылает нарочного за ответом, при чем добавляет в своем письме к министру, какое громадное значение имеет для войны мое изобретение — применение живой силы в военном деле и подробно описал, как видел у меня дрессировку морских львов.

Но вот грянул гром февральской революции. Началось массовое бегство сановников. Я вспомнил о генерале Мразовском и тотчас же поехал справиться об его участии и об участии моего изобретения.

Узнаю, что командующий войсками со всем своим штабом засел в городском манеже и, окруженный восставшими войсками, не сдается, ожидая распоряжения из Петрограда.

В конце концов он принужден был сдаться.

Я его потерял из вида...

Что касается моих документов, то с ними связаны тесно революционные события.

В дни восстания в Петрограде к министру Беляеву явились революционеры. Беляев успел сжечь у себя в камине то, что не хотел показывать, и в том числе мои труды с планами и чертежами.

## Карл Либкнехт, Вильгельм и каска.

Прежде я ежегодно уезжал летом с семьей за границу для лечения.

Война застала меня в Германии.

На первых порах всеобщей растерянности мне пришлось сыграть роль объединителя. Это случилось только потому, что меня все знали. Правда, там были люди, имеющие большую известность, чем я, как, напр., проф. Кареев, член Государственной Думы Чхенкели, известный богач Тагиев и др., но более знакомым и доступным всем оказался я.

Присяжного поверенного Полиановского, который, не покладая рук, с утра до ночи идейно работал для народа, меня и испанского посла просили уполномочить присутствовать на заседаниях немецкого банка в Берлине, как представителей христиан и русских евреев.

К сожалению, в комитете не могли обойтись без разногласий; образовалась партийность, при чем некоторые из комитетов старались в первую очередь отправить в Россию своих знакомых. В результате оказалось, что к отправке в первых четырех поездах были помещены все состоятельные люди. Таким образом беднота, которая абсолютно не имела средств к существованию, принуждена была оставаться в Берлине. Тогда я, немецкий писатель Фукс и член Государственной Думы Чхенкели, в заседании комитета, потребовали, чтобы вопрос о порядке отправки русских был перенесен в особую комиссию. В конце концов мы добились своего, и неимущие имели даже большую возможность выехать на родину, чем состоятельные.

Меня, находившегося в такой же неизвестности, спрашивали, просили...

Я добился в посольстве бумажки на беспрепятственный пропуск, выходил на улицу, собирал десятками паспорта, носил их в посольство, и там на них накладывали штемпеля.

За этой работой я познакомился с членом Государственной Думы Чхенкели, адвокатом Полиановским и директором Харьковского отделения Международного Банка.

Мы решили хлопотать о разрешении организовать „комитет взаимопомощи русским подданным“. В этом нам было отказано. Тогда за это дело взялся немецкий прогрессивный писатель Фукс, а я лично решил обратиться за содействием к моему старому знакомому Карлу Либкнехту.

С вождем немецких социал-демократов я познакомился несколько лет тому назад, когда мне пришлось обратиться к нему, как к адвокату, по на шумевшей в то время истории с моей ученой свиньей.

В Берлинском цирке я показывал эту свинью, и мною был, между прочим, проделан номер.

— Вас вильст ду? (Что ты хочешь?)—спрашиваю я свинью.

Она бросается к каске, которую носил Вильгельм, и тычет в нее мордой.

— Их виль-гельм! (Я хочу каску).—Отвечаю я за нее.

При соединении двух слов выходит.

— Я—Вильгельм.

За это меня выслали из Берлина. Мой гражданский иск вел Либкнехт и выиграл его.

Либкнехт встретил меня с улыбкой:

— Вы ведь высланный отсюда, милостивый государь!

— Как был бы я рад,—отвечал я,—если бы немецкие законы и сейчас так же строго выполнялись: тогда я не был бы в плену. Всю жизнь меня отовсюду выслали, а теперь держат..

Я стал ему рассказывать про действия русских. Он слушал и молчал. Брови морщились. Ему все это было непонятно, и я видел, что он чувствует себя подавленным и угнетенным.

— Все, что от меня зависит, я сделаю,—сказал он мне, пожимая руку.

Мое посещение Либкнехта оказалось для меня роковым.

У дверей своей квартиры я застал двух людей, вооруженных револьверами, которые пред'явили мне значки сысской полиции и об'явили мне, что я арестован.

Меня привели в участок, где было уже 7 человек русских. Из участка нас повели в Елизаветинскую тюрьму. В тюрьме меня продержали двое суток, за тем пригласили в контору и об'явили, что я свободен.

Наконец, нам разрешили выехать в Стокгольм.

## Запах смерти.

(Коронация).

Странное чувство охватило меня, когда я получил приглашение через театральную агентуру Рассохиной на предстоящую коронацию. Я должен был дать представление на народных гуляниях в дни коронации, в Москве, на Ходынском поле.

Я—шут, высмеивающий злой бюрократизм, гонимый сановниками, вдруг должен был выступать перед этими сановниками, перед этими давящими все живое сильными мира, которых ненавидел всем существом.

Я думал сначала, что это ошибка, но, переговорив с известным артистом Форкати, которому было поручено коронационной комиссией стать во главе народных гуляний в Москве, я понял, почему на меня пал выбор выступать самостоятельно отдельно от цирка.

На Ходынке было постановлено устроить четыре театра и цирк: из них три театральные предприятия, один цирк Никитиных, наконец, совершенно самостоятельный театр для меня, как для любимого шута народа.

Когда я подробно узнал, что перед представлениями будет выступать громадный хор Большого театра с лучшими хорами в Москве, со звоном колоколов, с множеством оркестров духовой

музыки и с пушечными выстрелами, мне улыбнулась мысль, как сатирику, присоединить и свой голос к этой какофонии, попросту сказать, освистать коронацию.

Я подписал контракт, не разбираясь с оплатой моего труда, чтобы только провести в осуществление зародившуюся в уме моем идею.

Средствами, которые я должен был получить за коронационные представления, я рассчитывал оплатить изобретенный мною полевой рояль.

Живо полетел я на механический завод Барбер.

Молодой англичанин—хозяин, рассмотрев мои чертежи, сам заинтересовался изобретением и охотно пошел мне на встречу.

Работа закипела. На заводе, вместе с рабочими, я сооружаю мою машину, долгие часы провожу среди шума, гама колес, пара, подбирая по слуху паровозные свистки, пароходные ревуны и фабричные гудки.

Рояль был готов; посредством сжатого воздуха в железных чанах, накачиваемых готовой уже машиной, гудки в аккордах должны были под моими руками заглушить всю хваленую музыку трона.

И вот, когда шестерка лошадей везла мой полевой рояль с машинами и чанами во дворик моего театра на Ходынке, я наскоро заколотил забор двора и, установив аппарат на место, ждал ночи, накануне знаменательного дня, когда я мог бы попробовать силу моего инструмента.

Жуткая ночь... Никогда, до последнего часа моей жизни, я не забуду ее.

Театр был построен для меня, по моему указанию, свободно и удобно. Данный мною в Комиссию список моих животных, был ею понят не так, и для короткого времени коронационных гуляний почти каждому животному была устроена отдельная уборная.

Козел отдельно свободно разгуливал в своей уборной; свинья хрюкала у себя; крысы и ежи имели свои большие помещения. Все было устроено грандиозно.

Мы, артисты, особым пунктом в контракте были обязаны прибыть на место нашего назначения за день раньше, иначе мы бы технически не могли пробиться через толпу в это огороженное Ходынское поле.

Воспользовавшись помещением, я пригласил близких, в том числе и подружившегося со мною заводчика Барбера, его тов. доктора и родственниц моей жены, ночевать в козлиных уборных на примитивно набитых сеном мешках, прямо на полу.

Сдвинув столы и устроив плотный ужин, мы готовились уснуть, чтобы утром созерцать невиданное грандиозное зрелище.

Завтра для начала представления сигналом должно было служить появление коронованного царя на особо устроенной царской трибуне.

Шар мой монгльфер, заранее наполненный горячим воздухом с привязанным к нему моим дубликатом чучелом, в одина-

ковом со мною клоунском костюме, должен был подняться на воздух и полететь, куда ветер дует. За тем следовала общая какофония и мой полевой рояль. А там должны были начаться во всех театрах представления, в том числе и в моем театре, непрерывно чередуя один номер за другим, и так целый день.

Работа предстояла тяжелая, утомительная; необходимо было подкрепить себя сном, а тут предстояла проба моего рояля.

Темнеет. Гигантские тени от театров падают на пустое поле. В воздухе свежо. Бесчисленные флаги, как мокрые тряпки, неподвижно повисли на своих древках. Силуэты трехугольных будок, точно солдаты, заняли правую сторону поля. В этих несчастных будках уже приготовлена даровая приманка для темной, дикой, серой массы угнетенных людей. Выдача завтрашнего дня — тухлая колбаса, горсть орехов и эмалированные жестяные кружки с рекламой царя, завернутые в ситцевые расписные платки, — бесплатная подачка, — приманила уже безрассудные тысячи человек.

С вечера и всю ночь, вплоть до рокового утра, толпа сгущалась, нажимая своим телом-грудью все плотнее и плотнее к будкам-западням, так что задние ряды не имели ни малейшего представления о том, что делается в передних.

Между каждой будкой было расстояние приблизительно в два аршина, куда должна была вливаться эта серая живая лава, получая из будки царские подарки. Подарки могли получать только те, кого выперли в эти мышеловки.

Генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович и Власовский, обер полицмейстер, еще за несколько дней до этого момента, спорили жарко о могущей произойти массовой гибели так что пришлось „самому“ вступить в спор, и из уст, его вылилась следующая примирительная, но губительная фраза:

— Не мешайте моему народу веселиться, как он хочет.

— И народ повеселился...

Но вернусь к себе в свой театр.

Сажусь за полевой рояль. Аккорд один, аккорд другой, и грандиозная музыка, разрезая воздух, полетела к красному дворцу \*).

Сжатый воздух, выбиваясь наружу из меди, брызгал, как слюной, зеленой жидкостью. Барабанные перепонки моих ушей не выдерживали. Пришлось на время оставить дьявольскую музыку.

Завязав уши бинтом и надев выпуклые автомобильные очки, я снова принялся за пробу.

Во время мелодии ко мне приходили друзья, шевеля губами. Голосов я их не слышал; они указывали руками на поле, где из театра „Руслан и Людмила“ скакал во весь карьер по направлению к нам курьер.

Верховой передал записку на мое имя.

\*) В Петровском Парке, где ночевал в эту ночь Николай II.

„Владимир Леонидович, — гласило письмо, — не свистите; государь спит. Это его может побеспокоит. Форкатти“.

— Как! Я шут, и могу побеспокоить царя. Какое наслаждение! — воскликнул я, прочтя записку, которая до сих пор хранится у меня. Ни один министр не имеет права этого сделать. Давайте скорее карандаш.

И, сосчитав на пальцах знакомых черносотенцев, могущих по моему соображению, жаждать коронационных подарков, я написал:

„Пока не пришлете 42 кружки, до тех пор не перестану свистеть“.

И я, видя как по полю скачет в темной мгле наступающей ночи верховой, удаляющийся к театру № 1 Форкатти, снова принялся за машину.

Но недолго я играл хвалебные гимны спящему царю. Три задорных парня с мешками за спиною, отбрасывая длинные фантастические тени, похожие на верблюдов в пустыне, принесли мне царские подарки.

Я удовлетворен. Брошен рояль; скорее спать. Завтра рано вставать и переживать исторический момент.

— Спать, спать, спать... Всем спать... прервал я разговоры моих друзей.

— Спать, — ответили хором мои гости и, продолжая шутить, с хохотом размещались по разным уборным моих четвероногих артистов.

Проходит четверть часа.

Отдельные фразы все реже и реже доносятся из-за тонких перегородок уборных. Наконец наступает молчание. Но ненадолго. Отдельная фраза, как ракета заставляет вновь вспыхнуть разговор.

— Я все усилия употреблял, чтобы заснуть, и не могу...

— И я... и я... — раздается со всех сторон. — Что это значит?

— Но, наконец, довольно, спать. — кричу я повелительно: — Кто первый скажет слово, тот штрафуется.

С полчаса молчание.

— Что это значит? — повторяю я про себя, — странное чувство, а голова свежа...

Начинаю себя анализировать, Сердце как то странно стучит в груди. Острые мысли перегоняют друг друга, как лошади на скачках, и не дают ни на секунду забытья. Нет, не могу спать... Я встаю, наскоро одеваюсь и бесшумно выхожу из уборной на сцену.

Приоткрытый занавес; как в грандиозной раме, темно-синее звездное небо, черное, покрытое зеленоватым туманом — поле Ходынки.

Я полною грудью проглатываю прохладный воздух и часто-часто бьется мое сердце.

И чем больше стараются мои легкие, тем чаще и болезненнее бьется сердце. Странное непонятное чувство.

Запах самого воздуха был какой то особенный, в первый раз в жизни обоняемый. Не могу рассказать словами, как не могу рассказать о боли, например, синяка, Нет слов, нет красок... Мысль, как молния, прорезала мозг: не предчувствие ли это?

— Вздор,—говорил разум.

— Надо спать. Все это—следствие прошедшего в суматохе дня и плотного ужина.

И снова вбирая в себя воздух, а с ним и новый запах, я ощущаю еще сильнее, еще тревожнее и тоскливее трепетный бой сердца.

— Эге,—думаю я,—я заболел.—Какая досада, как раз перед тяжелой работой.

Но нет, оказывается, что постепенно, один за другим, как мертвецы из гробницы повылезли из уборных мои друзья.

— Папа,—сказала моя дочь,—мое сердце бьется, как никогда.

— Мне страшно, папа, как никогда...

Оказалось, что и все остальные переживали что-то новое, неведомое им до сих пор.

О, этот запах, от которого так мучительно бьется сердце..

О сне больше нечего было и думать. Тьма все больше и больше сгущалась кругом. Вдали, за рядом мышеловок, происходило что-то таинственное. Глаза напрягались проникнуть сквозь черную воздушную завесу, а слух со склеротическим шумом биением сердца до тонкости остро воспринимал волну гула подземного гудящего, переливающегося какого-то нудного звука.

Изредка, то здесь, то там, сквозь рокот человеческих голосов, прорывались звуки пищиков гармошки. С густотою тьмы сгущалась и толпа.

Эти жуткие звуки с левой стороны то замирали, то снова перекатывались с одного конца поля до другого, двигались, как полки чудовищ. Чудился с ветром в темноте и полет летучих мышей, и дуновение ведьм верхом на метлах, точно в сказке... Волосы на голове шевелились сами собою и по позвоночному столбу, под потной фуфайкой, пробегал электрический ток.

Стало рассветать. Мы все на ногах, и серенький свет, пробивающийся в маленькие окошечки уборных, не обновлял настроения, а предвещал еще что-то худшее. Говор отдельных голосов за стеной театра, заставил нас выйти на воздух, и нашим глазам представилась следующая картина: кучками, в три, четыре человека, от ряда смертоносных будок, бежали расстрепанные, без шляп и картузов, помятые люди, ищущие что-то на земле.

Вот эти люди добежали до моего театра, стали на четвереньки и лакали, как собаки, грязную воду в луже, которая медленно наполнялась из моего парового двигателя, служившего мне для накачивания воздуха в бани полевого роаяля.

Они хлебали эту грязь, водоохладевшего пара, смешанную нефтью, как жирные щи.

Я побежал туда, откуда бежали люди, все больше и больше наполняя собою поле. То справа, то слева, параллельно с будками, попадались полуголые в лохмотьях трупы.

Это была страшная картина. Когда я, задыхаясь, подбежал к отверстиям между будок, я увидел, как люди, стоящие свободно вне границы, вытаскивали, хватая за волосы и за ноги, из этих воронок — ловушек живых, полумертвых и мертвых людей. Живые, жадно вдохнув в себя воздух, падали мертвыми на землю.

Мой доктор перочинным ножом пробовал разжимать стиснутые зубы несчастным, чтобы влить туда воду, и уже в третий раз ломал свой перочинный ножик.

Вся одежда оставалась в массе тел, а голые корчились, хрипя и задыхаясь, на пыльной траве поля.

Я умудрился, не помня себя, забраться на будку, и только успел выглянуть вниз на колышающуюся, движущуюся толпу, как увидел: среди живых идут мертвые; их влекут за собой живые, точно волны, то приливая, то отливая, и с каждой минутой создавая все новых мертвецов. Моментами через море голов перекидывались дети; счастливым удавалось ползти и перекатывать ся по головам живой массы.

Густое удушливое и вонючее облако испарений от тел и дыханий колыhalось, как пар расстилаясь далеко-далеко...

Закружилась голова, и я скатился обратно на траву...

Девушка с раздавленной грудью ползла по земле, широко раскрывая рот, и царапала ногтями мою ногу...

Я с моими служащими переносил умирающих к себе в театр, работая беспрерывно полтора часа.

Доктор беспомощно констатировал одну за другой смерть. В остатках штанов, в карманах мертвецов, мои служащие находили какие-то грязные куски мяса, смешанные с пылью и липкой кровью. Оказалось, что эти бесформенные кусочки были обрывками от ушей с серьгами и отсеченные наскоро пальцы с золотыми обручальными кольцами.

„Предусмотрительный“ обер-полицеймейстер Власовский за несколько дней до празднества распорядился выслать на время коронации из Москвы несколько сот хулиганов, горов и тунядцев, которые прекрасно учили все обстоятельство и вооружившись финскими ножами, возвратились в Москву из окрестных деревень к праздничному полю, где и смешались с толпой. Там же, в толпе они рвали у живых соседок уши с серьгами и пальцы с кольцами, часто пробивая себе дорогу тем же ножом и тут же погибали от напора все прибывающей многотысячной толпы.

Жандармы, по приказу запоздавшего начальства, чтобы спасти хоть задние ряды толпы, врезывались в живую массу человеческих тел; тут же они были стащены с лошадей и разорваны на куски.

Другие верховые жандармы, видя участь сотоварищей, поворачивали лошадей и удирали враспынную.

Всех ужасов не перечить. Установить точно число погибших было невозможно и вот почему: оставшиеся от французской выставки колодцы, из экономии вороватых чиновников наскоро заделанные гнилыми досками и бревнами и засыпанные сверху землей и дерном, во время живой лавы были пробиты

человеческими телами и наполнены до краев заживо погребенными людьми. Кроме раздавленных со сломанными ребрами и исковерканными грудными клетками людей, многие погибли без видимых повреждений, задохнувшись в испарениях.

Вид трупов был ужасен: распухшие головы, часто с высунутыми языками и белые, как мрамор, бескровные тела.

После катастрофического увеселения несколько дней подряд охотники и пожарные команды, спускаясь на веревках в колодцы, не имели никакой возможности вытаскивать человеческую жидкую массу наружу, так как сами задыхались в этом зловонии.

Остальные неизвестные многосотенные трупы были засыпаны землей, чтобы не раздувать еще больше мирового скандала.

Царю, вошедшему торжественно в свой царский павильон, сочли необходимым донести „о незначительном несчастье с людьми, почтившими своею жизнью любимого бывшего наследника, а ныне всемогущего самодержавца—царя“.

В мягкой форме, осторожно было указано на микроскопическое число погибших.

Царь милостиво приказал выдать из своего камерного кабинета каждому семейству погибших по сто рублей. Но потом, когда оказалось, что погибших, только по приблизительному подсчету несколько тысяч, обещание царя было отменено.

А народ продолжал „веселиться“. Оставшиеся в живых требовали обещанных бесплатных зрелищ.

Толпа, не дождавшись очереди, с кружками и без кружек, прорвавшись в сарай, разбили там бочки пива и толкаясь и захлебываясь, пила теплую опьяняющую жидкость; тут же многие теряли равновесие и тонули в чанах. В том числе погиб и мой старый служащий.

Чтобы замаскировать народное бедствие, должны были по приказу свыше открыть представление часом раньше назначенного времени.

Не буду описывать подробно мое душевное состояние; его легко представить; скажу только, что когда я с дрожащими ногами, судорожно сжимающимися под коленками, подошел к отверстию спущенного занавеса, то увидел против своего театра громадную толпу, нетерпеливо ожидающую поднятия занавеса.

Крики „Начинай“, — „Пора!“, сначала редкие, потом громкие и частые, все усиливающиеся возгласы „Дурова“ — принимали угрожающий характер.

Комки дерна, вырванные тут же с землей, летели в занавес. Я едва успел сначала отвлечь внимание своим монгльфером, который понесся над толпой с привязанной куклой к красному дворцу; толпа приняла чучело за меня и пошла к другому театру, наверно думая, что я еще не скоро начну представление.

Я думал, что все этим кончится, но и царь, а за ним и все начальство дали приказ „Начать“.

Кокофония началась... Ко всем звукам музыкальных инструментов и человеческих голосов присоединялась масса шарманок, пишулек и криков полупьяных.

Я с особым злорадным чувством покрыл своими свистками дьявольскую музыку смерти...

Люди, спотыкаясь на оставшиеся неподобренные трупы, приближались к театру, клали торопливо на грудь покойникам ржавые пятаки, требовали зрелищ.

А мне казалось, что я играю на гробах.

---

После коронации ни одна газета уже не упомянула о наших выступлениях на Ходынке и о моем изобретении—полевом рояле.

После грандиозной иллюминации Москвы, на Тверской, на площади перед домом генерала-губернатора собралась толпа. Там Сергей Александрович задавал бал и толпа, глазающая на освещенные люстрами окна, с мелькающими тенями, танцующими, глухо рокотала. И слышала горькие подавленные упреки «Высочайшим особам» веселящимся в этот страшный день.

В толпе говорили:

— Не ладно он начал свою царствование, плохо он его и кончит...

Я нервно заболел...

Через две недели мне была прислана медаль на андреевской ленте с подобающим удостоверением и деньги, которых не хватило на покрытие расходов...

„Смейся, паяц“!

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

---

Дуров и его „дубликаты“ .....	3
Моя первая политическая сатира.....	8
Старая Москва .....	12
Свинья, как политический импульс.....	31
Фон-Валь.....	33
Адмирал Зеленый.....	35
Свистать Вы можете всю ночь.....	42
Невыполненные программы.....	43
Без штанов .....	43
Царь и его присные .....	45
Великий князь Константии Константиович .....	53
О губернаторе Сосновском и самоедах .....	54
Мразовский и мое изобретение.....	60
Карл Либкнехт, Вильгельм и его каска .....	63
Запах смерти (коронация) .....	64

---

200 =

Пров. 1953

## Новая книга В. Л. Дурова.

В. Л. Дуров—заслужил имя „дедушки“ научно-гуманной дрессировки. Название его новой книги—„Звери дедушки Дурова“— вполне уместно. Литературные выступления лиц, которые, как В. Л. Дуров, были известны почти исключительно по своей практической деятельности, всегда бывают интересны. Книга представляет собою биографию „четвероногих сотрудников“ автора. Его работа всегда вызывает наравне с восхищением и глубокое недоумение перед ее секретом. Здесь перед нами откровенные рассказы детям о животных и методе их дрессировки. Серьезное научно-обоснованное сообщение В. Л. Дуров излагает в своей следующей книге („Дрессировка животных“), выходящей в близком будущем.

*„Вечерняя Москва“ 18 июня 1924 г.*

**ДУРОВ, В. Л. «Звери дедушки Дурова».** Кн. I-я 139 стр. Изд. Госизд. Ленинград, 1924 г. 5000 экз. Иллюстр. 16. 1 р. 40 к.

Эта книга интересна и детям и взрослым. С энтузиазмом и любовью знаменитый клоун и друг животных рассказывает о своих друзьях, учениках и товарищах по работе.

Герои этих рассказов: крысы, лемуры, ежи, собака, гусь и слон.

Полобная книга расширяет рамки человеческой жизни.

Отрывки из нее можно читать даже 6—7 летним детям. Самостоятельно ее начнут читать 8—9 летние. Осилить же всю книгу могут только дети с 11—12 лет.

*„Книжный листок Центросоюза“ № 3 (6) 15 июня 1924 г.*

**ДУРОВ, В. Л. «Звери дедушки Дурова».** Госиздат Б. 24 г., 139 стр.

Замечательно интересную и содержательную книжку свою Дуров предназначает, по видимому, исключительно для детей. Но, так как пишет ее эпически-просто, без сладенького, столь обычного для детских писателей, сюсюканья, книжку его с огромным наслаждением прочтет и взрослый. Сужу по себе—читал с таким же глубоким удовольствием, как, например, „Робинзона Крузо“, как „Гулливера“.

Книга содержит в высшей степени ценный материал. Пусть Дуров сам себя называет и клоуном и шутом, в этой книжке перед нами— профессор, большой знаток звериной души. Запас наблюдений безграничен, опыты необычайно смелы; особенно интересны случаи гипнотических внушений собакам.

**В. К.**

*20 апреля № 91 (1386) „Красная газета“.*

**В. Л. ДУРОВ.** Дрессировка животных. Психологические наблюдения над животными, дрессированными по моему методу (40-летний опыт). Новое в зоопсихологии. Универсальное Издательство. Москва. 1924 г. Стр. 500 с 79 рис.

... Не подлежит сомнению, что автор—первоклассный талант в области дрессировки животных. Благодаря сорокалетнему непрерывному и самому тесному общению с животными ему удается достигнуть в области дрессировки таких успехов, которые недоступны лабораторному ученому—зоопсихологу. Эти успехи обеспечены в значительной степени большой наблюдательностью В. Л. Дурова и, конечно, ему есть чем поделиться с читателем. У него живой образный язык и он умеет описывать увлекательно: некоторые части книги можно читать не отрываясь. А любовное отношение к своим животным этого дрессировщика-артиста, который никогда не употребляет кнута и вообще наказания, особенно подкупает читателя и делает автора в его глазах особенно симпатичным...

*Кольцов. „Печать и Революция“.*